





**Илья ИЛЬФ  
Евгений ПЕТРОВ**



**ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ  
СОЧИНЕНИЙ  
В ОДНОМ ТОМЕ**



Издательство  
АЛЬФА-КНИГА  
Москва  
2017

УДК 821.161.1  
ББК 84. (2Рос-Рус)6-5  
И48

Серия основана  
в 2007 году

**Ильф И., Петров Е.**

И48 Полное собрание сочинений в одном томе. — М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2017. — 1280 с.: ил. — (Полное собрание в одном томе).

ISBN 978-5-9922-0444-5

В одном томе собраны все произведения знаменитых российских писателей-сатириков Ильи Ильфа (1897—1937) и Евгения Петрова (1903—1942), написанные ими в соавторстве — романы, сатирическая повесть, юмористические рассказы, гротескные новеллы, фельетоны, очерки, путевые заметки и киносценарии.

УДК 821.161.1  
ББК 84. (2Рос-Рус)6-5

ISBN 978-5-9922-0444-5

© Художественное оформление,  
«Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2009

## ДВОЙНАЯ АВТОБИОГРАФИЯ

Составить автобиографию автора «Двенадцати стульев» довольно затруднительно. Дело в том, что автор родился дважды: в 1897 году и в 1903 году. В первый раз автор родился под именем Ильи Ильфа, а во второй раз — Евгения Петрова.

Оба эти события произошли в городе Одессе.

Таким образом, уже с младенческого возраста автор начал вести двойную жизнь. В то время, когда одна половина автора барахталась в пеленках, другой уже было шесть лет и она лазила через забор на кладбище, чтобы рвать сирень. Такое двойное существование продолжалось до 1925 года, когда обе половины впервые встретились в Москве.

Илья Ильф родился в семье банковского служащего и в 1913 году окончил техническую школу. С тех пор он последовательно работал в чертежном бюро, на телефонной станции, на авиационном заводе и на фабрике ручных гранат. После этого был статистиком, редактором юмористического журнала «Синдетикон», в котором писал стихи под женским псевдонимом, бухгалтером и членом Президиума Одесского союза поэтов. После подведения баланса выяснилось, что перевес оказался на литературной, а не бухгалтерской деятельности, и в 1923 году И.Ильф приехал в Москву, где и нашел свою, как видно окончательную, профессию — стал литератором, работал в газетах и юмористических журналах.

Евгений Петров родился в семье преподавателя и в 1920 году окончил классическую гимназию. В том же году сделался корреспондентом Украинского телеграфного агентства. После этого в течение трех лет служил инспектором уголовного розыска. Первым его литературным произведением был протокол осмотра трупа неизвестного мужчины. В 1923 году Евг. Петров переехал в Москву, где продолжал образование и занялся журналистикой. Работал в газетах и юмористических журналах. Выпустил несколько книжечек юмористических рассказов.

После стольких приключений разрозненным частям удалось наконец встретиться. Прямым следствием этого и явился роман «Двенадцать стульев», написанный в 1927 году в Москве.

В таких случаях авторов обычно спрашивают, как это они пишут вдвоем. Интересующимся можем указать на пример певцов, которые поют дуэты и чувствуют себя при этом отлично.

После «Двенадцати стульев» нами выпущены в свет — сатирическая повесть «Светлая личность» и две серии гротескных новелл: «Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска» и «1001 день, или Новая Шахерзада».

Сейчас мы пишем роман под названием «Великий комбинатор» и работаем над повестью «Летучий голландец». Мы входим в недавно образовавшуюся литературную группу «Клуб чудаков».

Несмотря на такую согласованность действий, поступки авторов бывают иногда глубоко индивидуальными. Так, например, Илья Ильф женился в 1924, а Евгений Петров в 1929 году.

*Илья Ильф, Евгений Петров  
Сочинено 25 июня 1929 г.  
Москва*

## КАК МЫ РАБОТАЕМ

Мы начали работать вдвоем в 1927 году случайно. До этого каждый из нас писал самостоятельно. Это были маленькие рассказы, фельетоны, иногда даже весьма сомнительные стихи. Когда мы стали писать вдвоем, выяснилось, что мы друг к другу подходим, как говорится, дополняем один другого. Выяснилось еще одно обстоятельство. Писать вдвоем труднее, сложнее, чем одному. Но зато, как нам кажется, для нас лично это оказалось плодотворнее. Мы не можем рекомендовать такого способа работы как обязательно дающего хорошие результаты. Но в отношении себя мы убеждены, что каждый из нас в отдельности писал бы хуже, чем мы пишем сейчас вдвоем. Что касается метода нашей работы, то он один. Что бы мы ни писали — роман, фельетон, пьесу или деловое письмо, мы все это пишем вместе, не отходя друг от друга, за одним столом. Вместе ищется тема, совместными усилиями облекается она в сюжетную форму, все наблюдения, мысли и литературные украшения тщательно выбираются из общего котла, и вместе пишется каждая фраза, каждое слово. Разумеется, каждый шаг работы подвергается взаимной критике, критике довольно придирчивой, но зато нелицемерной, не допускающей компромиссов и приятельских одолжений. Даже эту маленькую заметку мы составляем сейчас совместно. И так как мы уже говорили, что писать вдвоем трудно, то мы на этом и заканчиваем.

1935

---

**ДВЕНАДЦАТЪ СТУЛЪЕВ**  
РОМАН

---

Часть первая  
СТАРГОРОДСКИЙ ЛЕВ

Глава I  
БЕЗЕНЧУК И «НИМФЫ»

В уездном городе N было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем и сразу же умереть. А на самом деле в уездном городе N люди рождались, брились и умирали довольно редко. Жизнь города N была тишайшей. Весенние вечера были упоительны, грязь под луною сверкала, как антрацит, и вся молодежь города до такой степени была влюблена в секретаршу месткома коммунальщиков, что это мешало ей собирать членские взносы.

Вопросы любви и смерти не волновали Ипполита Матвеевича Воробьянинова, хотя этими вопросами по роду своей службы он ведал с девяти утра до пяти вечера ежедневно с получасовым перерывом для завтрака.

По утрам, выпив из морозного, с жилкой, стакана свою порцию горячего молока, поданного Клавдией Ивановной, он выходил из полутемного домика на просторную, полную диковинного весеннего света улицу имени товарища Губернского. Это была приятнейшая из улиц, какие встречаются в уездных городах. По левую руку за волнистыми зеленоватыми стеклами серебрились гробы похоронного бюро «Нимфа». Справа за маленькими, с обвалившейся замазкой окнами угрюмо возлежали дубовые пыльные и скучные гробы гробовых дел мастера Безенчука. Далее «Цирульный мастер Пьер и Константин» обещал своим потребителям «холою ногтей» и «ондулясион на дому». Еще дальше располагалась гостиница с парикмахерской, а за нею на большом пустыре стоял палевый теленок и нежно лизал поржавевшую, прислоненную к одиноко торчащим воротам вывеску:

ПОГРЕБАЛЬНАЯ КОНТОРА  
«МИЛОСТИ ПРОСИМ»

Хотя похоронных депо было множество, но клиентура у них была небогатая. «Милости просим» лопнуло еще за три года до того, как Ипполит Матвеевич осел в городе N, а мастер Безенчук пил горькую и даже однажды пытался заложить в ломбарде свой лучший выставочный гроб.

Люди в городе N умирали редко, и Ипполит Матвеевич знал это лучше кого бы то ни было, потому что служил в загсе, где ведал столом регистрации смертей и браков.

Стол, за которым работал Ипполит Матвеевич, походил на старую надгробную плиту. Левый угол его был уничтожен крысами. Хилые его ножки тряслись под тяжестью пухлых папок табачного цвета с записями, из которых можно было почерпнуть все сведения о родословных жителей города N и о генеалогических древах, произросших на скудной уездной почве.



В пятницу 15 апреля 1927 года Ипполит Матвеевич, как обычно, проснулся в половине восьмого и сразу же просунул нос в старомодное пенсне с золотой дужкой. Очков он не носил. Однажды, решив, что носить пенсне негигиенично, Ипполит Матвеевич направился к оптику и купил очки без оправы, с позолоченными оглоблями. Очки с первого раза ему понравились, но жена (это было незадолго до ее смерти) нашла, что в очках он — вылитый Милюков, и он отдал очки дворнику. Дворник, хотя и не был близорук, к очкам привык и носил их с удовольствием.

— Бонжур! — пропел Ипполит Матвеевич самому себе, спуская ноги с постели. «Бонжур» указывало на то, что Ипполит Матвеевич проснулся в добром расположении. Сказанное при пробуждении «гут морген» обычно значило, что печень пошаливает, что пятьдесят два года — не шутка и что погода нынче сырая.

Ипполит Матвеевич сунул сухошавые ноги в довоенные штучные брюки, завязал их у щиколоток тесемками и погрузился в короткие мягкие сапоги с узкими квадратными носами. Через пять минут на Ипполите Матвеевиче красовался лунный жилет, усыпанный мелкой серебряной звездой, и переливчатый люстриновый пиджачок. Смахнув со своих седин оставшиеся после умывания росинки, Ипполит Матвеевич зверски пошевелил усами, в нерешительности потрогал рукою шероховатый подбородок, провел щеткой по коротко остриженным алюминиевым волосам и, учтиво улыбаясь, двинулся навстречу входившей в комнату теще — Клавдии Ивановне.

— Эпполе-эт, — прогремела она, — сегодня я видела дурной сон.

Слово «сон» было произнесено с французским прононсом.

Ипполит Матвеевич поглядел на тещу сверху вниз. Его рост доходил до ста восьмидесяти пяти сантиметров, и с такой высоты ему легко и удобно было относиться к теще с некоторым пренебрежением.

Клавдия Ивановна продолжала:

— Я видела покойную Мари с распущенными волосами и в золотом кушаке.

От пушечных звуков голоса Клавдии Ивановны дрожала чугунная лампа с ядром, дробью и пыльными стеклянными цацками.

— Я очень встревожена. Боюсь, не случилось бы чего.

Последние слова были произнесены с такой силой, что каре волос на голове Ипполита Матвеевича колыхнулось в разные стороны. Он сморщил лицо и раздельно сказал:

— Ничего не будет, маман. За воду вы уже вносили?

Оказывается, что не вносили. Калоши тоже не были помыты. Ипполит Матвеевич не любил своей тещи. Клавдия Ивановна была глупа, и ее прелонный возраст не позволял надеяться на то, что она когда-нибудь поумнеет. Скупа она была до чрезвычайности, и только бедность Ипполита Матвеевича не давала развернуться этому захватывающему чувству. Голос у нее был такой силы и густоты, что ему позавидовал бы Ричард Львиное Сердце, от крика которого, как известно, приседали кони. И кроме того, — что было самым ужасным, — Клавдия Ивановна видела сны. Она видела их всегда. Ей снились девушки в кушаках, лошади, обшитые желтым драгунским кантом, дворники, играющие на арфах, архангелы в сторожевых тулупах, прогуливающие по ночам с колотушками в руках, и вязальные спицы, которые сами собой прыгали по комнате, производя огорчительный звон. Пустая старуха была Клавдия Ивановна. Вдобавок ко всему под носом у нее выросли усы, и каждый ус был похож на кисточку для бритья.

Ипполит Матвеевич, слегка раздраженный, вышел из дому.

У входа в свое потасканное заведение стоял, прислонясь к дверному косяку и скрестив руки, гробовых дел мастер Безенчук. От систематических кра-

хов своих коммерческих начинаний и от долговременного употребления внутрь горячительных напитков глаза мастера были ярко-желтыми, как у kota, и горели неугасимым огнем.

— Почет дорогому гостю! — прокричал он скороговоркой, завидев Ипполита Матвеевича. — С добрым утром!

Ипполит Матвеевич вежливо приподнял запятнанную кастановую шляпу.

— Как здоровье тещеньки, разрешите узнать?

— Mr-мр-мр, — неопределенно ответил Ипполит Матвеевич и, пожав прямыми плечами, проследовал дальше.

— Ну, дай бог здоровычка, — с горечью сказал Безенчук, — одних убытков сколько несем, туды его в качель!

И снова, скрестив руки на груди, прислонился к двери.

У врат похоронного бюро «Нимфа» Ипполита Матвеевича снова попрдержали.

Владельцев «Нимфы» было трое. Они враз поклонились Ипполиту Матвеевичу и хором осведомились о здоровье тещи.

— Здорова, здорова, — ответил Ипполит Матвеевич, — что ей делается! Сегодня золотую девушку видела, распушенную. Такое ей было видение во сне.

Три «нимфа» переглянулись и громко вздохнули.

Все эти разговоры задержали Ипполита Матвеевича в пути, и он, против обыкновения, пришел на службу тогда, когда часы, висевшие над лозунгом «Сделал свое дело — и уходи», показывали пять минут десятого.

Ипполита Матвеевича за большой рост, а особенно за усы, прозвали в учреждении Мацистом, хотя у настоящего Мациста никаких усов не было.

Вынув из ящика стола синюю войлочную подушечку, Ипполит Матвеевич положил ее на стул, придал усам правильное направление (параллельно линии стола) и сел на подушечку, немного возвышаясь над тремя своими сослуживцами. Ипполит Матвеевич не боялся геморроя, он боялся протереть брюки и потому пользовался синим войлоком.

За всеми манипуляциями советского служащего застенчиво следили двое молодых людей — мужчина и девица. Мужчина в суконном на вате пиджаке был совершенно подавлен служебной обстановкой, запахом ализариновых чернил, часами, которые часто и тяжело дышали, а в особенности строгим плакатом «Сделал свое дело — и уходи». Хотя дела своего мужчина в пиджаке еще и не начинал, но уйти ему уже хотелось. Ему казалось, что дело, по которому он пришел, настолько незначительно, что из-за него совестно беспокоить такого видного седого гражданина, каким был Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич и сам понимал, что у пришедшего дело маленькое, что оно терпит, а потому, раскрыв скоросшиватель № 2 и дернув щечкой, углубился в бумага. Девица, в длинном жакете, обшитом блестящей черной тесьмой, пошепталась с мужчиной и, теплая от стыда, стала медленно подвигаться к Ипполиту Матвеевичу.

— Товарищ, — сказала она, — где тут...

Мужчина в пиджаке радостно вздохнул и неожиданно для самого себя гаркнул:

— Сочетаться!

Ипполит Матвеевич внимательно поглядел на перильца, за которыми стояла чета.

— Рождение? Смерть?

— Сочетаться, — повторил мужчина в пиджаке и растерянно оглянулся по сторонам.

Девица прыснула. Дело было на мази. Ипполит Матвеевич с ловкостью фокусника принялся за работу. Записал старушечьим почерком имена новобрачных в толстые книги, строго допросил свидетелей, за которыми невеста

сбегала во двор, долго и нежно дышал на квадратные штампы и, привстав, оттискивал их на потрепанных паспортах. Приняв от молодоженов два рубля и выдав квитанцию, Ипполит Матвеевич сказал, усмехнувшись: «За совершение таинства», — и поднялся во весь свой прекрасный рост, по привычке выкатив грудь (в свое время он нашивал корсет). Толстые желтые лучи солнца лежали на его плечах, как эполеты. Вид у него был несколько смешной, но необыкновенно торжественный. Двоюгогнутое стекла пенсне лучились белым прожекторным светом. Молодые стояли, как барашки.

— Молодые люди, — заявил Ипполит Матвеевич выпренно, — позвольте вас поздравить, как говаривалось раньше, с законным браком. Очень, очень приятно видеть таких молодых людей, как вы, которые, держась за руки, идут к достижению вечных идеалов. Очень, оч-чень приятно!

Произнесши эту тираду, Ипполит Матвеевич пожал новобрачным руки, сел и, весьма довольный собою, продолжал чтение бумаг из скоросшивателя № 2.

За соседним столом служащие хрюкнули в чернильницы.

Началось спокойное течение служебного дня. Никто не тревожил стол регистрации смертей и браков. В окно было видно, как граждане, поеживаясь от весеннего холодка, разбрелись по своим домам. Ровно в полдень запел петух в кооперативе «Плуг и молот». Никто этому не удивился. Потом раздались металлическое кряканье и клекот мотора. С улицы имени товарища Губернского выкатился плотный клуб фиолетового дыма. Клекот усилился. Из-за дыма вскоре появились контуры исполкомовского автомобиля Гос. № 1 с крохотным радиатором и громоздким кузовом. Автомобиль, барахтаясь в грязи, пересек Старопанскую площадь и, колыхаясь, исчез в ядовитом дыму. Служащие долго еще стояли у окна, комментируя происшествие и ставя его в связь с возможным сокращением штата. Через некоторое время по деревянным мосткам осторожно прошел мастер Безенчук. Он целыми днями шатался по городу, выпытывая, не умер ли кто.

Служебный день подходил к концу. На соседней желтенькой с белым колокольне что есть мочи забили в колокола. Дрожали стекла. С колокольни посыпались галки, помитинговали над площадью и унеслись. Вечернее небо леденело над опустевшей площадью.

Ипполиту Матвеевичу пора было уходить. Все, что имело родиться в этот день, родилось и было записано в толстые книги. Все желающие повенчаться были повенчаны и тоже записаны в толстые книги. И не было лишь, к явному разорению гробовщиков, ни одного смертного случая. Ипполит Матвеевич сложил дела, спрятал в ящик войлочную подушечку, распушил гробовой усы и уже было, мечтая об огнедышащем супе, собрался пойти прочь, как дверь канцелярии распахнулась, на пороге ее появился гробовых дел мастер Безенчук.

— Почет дорогому гостю, — улыбнулся Ипполит Матвеевич. — Что скажешь?

Хотя дикая рожа мастера и сияла в наступивших сумерках, но сказать он ничего не смог.

— Ну? — спросил Ипполит Матвеевич более строго.

— «Нимфа», туды ее в качель, разве товар дает? — смутно молвил гробовой мастер. — Разве ж она может покупателя удовлетворить? Гроб — он одного лесу сколько требует...

— Чего? — спросил Ипполит Матвеевич.

— Да вот «Нимфа»... Их три семейства с одной торговлишки живут. Уже у них и матерьял не тот, и отделка похуже, и кисть жидкая, туды ее в качель.

А я — фирма старая. Основан в тысяча девятьсот седьмом году. У меня гроб — огурчик, отборный, любительский...

— Ты что же это, с ума сошел? — кротко спросил Ипполит Матвеевич и двинулся к выходу. — Обалдеешь ты среди гробов.

Безенчук предупредительно рванул дверь, пропустил Ипполита Матвеевича вперед, а сам увязался за ним, дрожа как бы от нетерпения.

— Еще когда «Милости просим» было, тогда верно! Против ихнего глазути ни одна фирма, даже в самой Твери, выстоять не могла, туды ее в качель. А теперь, прямо скажу, лучше моего товара нет. И не ищите даже.

Ипполит Матвеевич с гневом обернулся, посмотрел секунду на Безенчука сердито и зашагал несколько быстрее. Хотя никаких неприятностей по службе с ним сегодня не произошло, но почувствовал он себя довольно гадостно.

Три владельца «Нимфы» стояли у своего заведения в тех же позах, в каких Ипполит Матвеевич оставил их утром. Казалось, что с тех пор они не сказали друг другу ни слова, но разительная перемена в лицах, таинственная удовлетворенность, томно мерцавшая в их глазах, показывала, что им известно кое-что значительное.

При виде своих коммерческих врагов Безенчук отчаянно махнул рукой, остановился и зашептал вслед Воробьянинову:

— Уступлю за тридцать два рублика.

Ипполит Матвеевич поморщился и ускорил шаг.

— Можно в кредит, — добавил Безенчук.

Трое же владельцев «Нимфы» ничего не говорили. Они молча устремились вслед за Воробьяниновым, беспрерывно снимая на ходу картузы и вежливо кланяясь.

Рассерженный вконец глупыми приставами гробовщиков, Ипполит Матвеевич быстрее обыкновенного взбежал на крыльцо, раздраженно соскреб о ступеньку грязь и, испытывая сильнейшие приступы аппетита, вошел в сени. Навстречу ему из комнаты вышел пышущий жаром священник церкви Фрола и Лавра, отец Федор. Подобрав правой рукой рясу и не обращая внимания на Ипполита Матвеевича, отец Федор пронесся к выходу.

Тут Ипполит Матвеевич заметил излишнюю чистоту, новый, режущий глаза беспорядок в расстановке немногочисленной мебели и ощутил щекотание в носу, происшедшее от сильного лекарственного запаха. В первой комнате Ипполита Матвеевича встретила соседка, агрономша Кузнецова. Она зашептала и замахала руками:

— Ей хуже, она только что исповедовалась. Не стучите сапогами.

— Я не стучу, — покорно ответил Ипполит Матвеевич. — Что же случилось?

Мадам Кузнецова подобрала губы и показала рукой на дверь второй комнаты:

— Сильнейший сердечный припадок.

И, повторяя явно чужие слова, понравившиеся ей своей значительностью, добавила:

— Не исключена возможность смертельного исхода. Я сегодня весь день на ногах. Прихожу утром за мясорубкой, смотрю — дверь открыта, в кухне никого, в этой комнате тоже, ну, я думаю, что Клавдия Ивановна пошла за мукой для куличей. Она давеча собиралась. Мука теперь, сами знаете, если не купишь заранее...

Мадам Кузнецова долго еще рассказывала бы про муку, про дороговизну и про то, как она нашла Клавдию Ивановну лежащей у изразцовой печки в совершенно мертвенном состоянии, но стон, раздавшийся из соседней комнаты, больно поразил слух Ипполита Матвеевича. Он быстро перекрестился слегка онемевшей рукой и прошел в комнату тещи.

*Глава II*  
**КОНЧИНА МАДАМ ПЕТУХОВОЙ**

Клавдия Ивановна лежала на спине, подсунув одну руку под голову. Голова ее была в чепце интенсивно абрикосового цвета, который был в какой-то моде в каком-то году, когда дамы носили «шантеклер» и только начинали танцевать аргентинский танец «танго».

Лицо Клавдии Ивановны было торжественно, но ровно ничего не выражало. Глаза смотрели в потолок.

— Клавдия Ивановна! — позвал Воробьянинов.

Теща быстро зашевелила губами, но, вместо привычных уху Ипполита Матвеевича трубных звуков, он услышал стон, тихий, тонкий и такой жалостный, что сердце его дрогнуло. Блестящая слеза неожиданно быстро выкатилась из глаза и, словно ртуть, скользнула по лицу.

— Клавдия Ивановна, — повторил Воробьянинов, — что с вами?

Но он снова не получил ответа. Старуха закрыла глаза и слегка завалилась на бок.

В комнату тихо вошла агрономша и увела его за руку, как мальчика, которого ведут мыться.

— Она заснула. Врач не велел ее беспокоить. Вы, голубчик, вот что — сходите в аптеку. Nate квантанцию и узнайте, почему пузыри для льда.

Ипполит Матвеевич во всем покорился мадам Кузнецовой, чувствуя ее неоспоримое превосходство в подобных делах.

До аптеки бежать было далеко. По-гимназически, зажав в кулаке рецепт, Ипполит Матвеевич торопливо вышел на улицу.

Было уже почти темно. На фоне иссякающей зари виднелась тщедушная фигура гробовых дел мастера Безенчука, который, прислонясь к еловым воротам, закусывал хлебом и луком. Тут же рядом сидели на корточках три «нимфа» и, облизывая ложки, ели из чугунного горшочка гречневую кашу. При виде Ипполита Матвеевича гробовщики вытянулись, как солдаты. Безенчук обидчиво пожал плечами и, протянув руку в направлении конкурентов, проворчал:

— Путаются, туды их в качель, под ногами.

Посреди Старопанской площади, у бюстика поэта Жуковского с высеченной на цоколе надписью: «Поэзия есть бог в святых мечтах земли», велись оживленные разговоры, вызванные известием о тяжелой болезни Клавдии Ивановны. Общее мнение собравшихся горожан сводилось к тому, что «все там будем» и что «бог дал, бог и взял».

Парикмахер «Пьер и Константин», охотно отзывавшийся, впрочем, на имя «Андрей Иванович», и тут не упустил случая выказать свои познания в медицинской области, почерпнутые им из московского журнала «Огонек».

— Современная наука, — говорил Андрей Иванович, — дошла до невозможного. Возьмите: скажем, у клиента прыщик на подбородке вскочил. Раньше до заражения крови доходило, а теперь в Москве, говорят, — не знаю, правда это или неправда, — на каждого клиента отдельная стерилизованная кисточка полагается.

Граждане протяжно вздохнули.

— Это ты, Андрей, малость перехватил...

— Где же это видано, чтоб на каждого человека отдельная кисточка? Выдумает же!

Бывший пролетарий умственного труда, а ныне палаточник Прусис даже разнервничался:

— Позвольте, Андрей Иванович, в Москве, по данным последней переписи, больше двух миллионов жителей? Так, значит, нужно больше двух миллионов кисточек? Довольно оригинально.

Разговор принимал горячие формы и черт знает до чего дошел бы, если б в конце Осыпной улицы не показался Ипполит Матвеевич.

— Опять в аптеку побежал. Плохи дела, значит.

— Помрет старуха. Недаром Безенчук по городу сам не свой бегаёт.

— А доктор что говорит?

— Что доктор! В страхкассе разве доктора? И здорового залечат!

«Пьер и Константин», давно уже порывавшийся сделать сообщение на медицинскую тему, заговорил, опасливо оглянувшись:

— Теперь вся сила в гемоглобине.

Сказав это, «Пьер и Константин» умолк.

Замолчали и горожане, каждый по-своему размышляя о таинственных силах гемоглобина.

Когда поднялась луна и ее мятный свет озарил миниатюрный бюстик Жуковского, на медной его спине можно было ясно разобрать написанное мелом краткое ругательство.

Впервые подобная надпись появилась на бюстике 15 июня 1897 года в ночь, наступившую непосредственно после открытия памятника. И как представители полиции, а впоследствии милиции ни старались, хулительная надпись аккуратно возобновлялась каждый день.

В деревянных с наружными ставнями домиках уже пели самовары. Был час ужина. Граждане не стали понапрасну терять время и разошлись. Подул ветер.

Между тем Клавдия Ивановна умирала. Она то просила пить, то говорила, что ей нужно встать и сходить за отданными в починку парадными штиблетами Ипполита Матвеевича, то жаловалась на пыль, от которой, по ее словам, можно было задохнуться, то просила зажечь все лампы.

Ипполит Матвеевич, который уже устал волноваться, ходил по комнате. В голову ему лезли неприятные хозяйственные мысли. Он думал о том, как придется брать в кассе взаимопомощи аванс, бегать за попом и отвечать на соболезнующие письма родственников. Чтобы рассеяться немного, Ипполит Матвеевич вышел на крыльцо. В зеленом свете луны стоял гробовых дел мастер Безенчук.

— Так как же прикажете, господин Воробьянинов? — спросил мастер, прижимая к груди картуз.

— Что ж, пожалуй, — угрюмо ответил Ипполит Матвеевич.

— А «Нимфа», туды ее в качель, разве товар дает! — заволновался Безенчук.

— Да пошел ты к черту! Надоел!

— Я ничего. Я насчет кистей и глазета. Как сделать, туды ее в качель? Первый сорт, прима? Или как?

— Без всяких кистей и глазетов. Простой деревянный гроб. Сосновый. Понял?

Безенчук приложил палец к губам, показывая этим, что он все понимает, повернулся и, балансируя картузом, но все же шатаясь, отправился восвояси. Тут только Ипполит Матвеевич заметил, что мастер смертельно пьян.

На душе Ипполита Матвеевича снова стало необыкновенно гадостно. Он не представлял себе, как будет приходиться в опустевшую, замусоренную квартиру. Ему казалось, что со смертью тещи исчезнут те маленькие удобства и привычки, которые он с усилиями создал себе после революции, похитившей у него большие удобства и широкие привычки. «Жениться? — подумал Ипполит Матвеевич. — На ком? На племяннице начальника милиции, на Варваре Степановне, сестре Прусиса? Или, может быть, нанять домработницу? Куда там! Затаскает по судам. Да и накладно».

Жизнь сразу почернела в глазах Ипполита Матвеевича. Полный негодования и отвращения ко всему на свете, он снова вернулся в дом.



Клавдия Ивановна уже не бредила. Высоко лежа, на подушках, она поглядывала на вошедшего Ипполита Матвеевича вполне осмысленно и, как ему показалось, даже строго.

— Ипполит, — прошептала она явственно, — сядьте около меня. Я должна рассказать вам...

Ипполит Матвеевич с неудовольствием сел, взглядываясь в похудевшее усатое лицо тещи. Он попытался улыбнуться и сказать что-нибудь ободряющее. Но улыбка получилась дикая, а ободряющих слов совсем не нашлось. Из горла Ипполита Матвеевича вырвалось лишь неловкое пиканье.

— Ипполит, — повторила теща, — помните вы наш гостинный гарнитур?

— Какой? — спросил Ипполит Матвеевич с предупредительностью, возможной лишь к очень больным людям.

— Тот... Обитый английским ситцем...

— Ах, это в моем доме?

— Да, в Старгороде...

— Помню, отлично помню... Диван, дюжина стульев и круглый столик о шести ножках. Мебель была превосходная, гамбсовская... А почему вы вспомнили?

Но Клавдия Ивановна не смогла ответить. Лицо ее медленно стало покрываться купоросным цветом. Захватило почему-то дух и у Ипполита Матвеевича. Он отчетливо вспомнил гостиную в своем особняке, симметрично расставленную ореховую мебель с гнутыми ножками, начищенный восковой пол, старинный коричневый рояль и овальные черные рамочки с дагерротипами сановных родственников на стенах.

Тут Клавдия Ивановна деревянным, равнодушным голосом сказала:

— В сиденье стула я зашила свои брильянты.

Ипполит Матвеевич покосился на старуху.

— Какие брильянты? — спросил он машинально, но тут же спохватился. — Разве их не отобрали тогда, во время обыска?

— Я спрятала брильянты в стул, — упрямо повторила старуха.

Ипполит Матвеевич вскочил и, посмотрев на освещенное керосиновой лампой каменное лицо Клавдии Ивановны, понял, что она не бредит.

— Ваши брильянты! — закричал он, пугаясь силы своего голоса. — В стул! Кто вас надоумил? Почему вы не дали их мне?

— Как же было дать вам брильянты, когда вы пустили по ветру имение моей дочери? — спокойно и зло молвила старуха.

Ипполит Матвеевич сел и сейчас же снова встал. Сердце его с шумом рассылало потоки крови по всему телу. В голове начало гудеть.

— Но вы их вынули оттуда? Они здесь?

Старуха отрицательно покачала головой.

— Я не успела. Вы помните, как быстро и неожиданно нам пришлось бежать. Они остались в стуле, который стоял между терракотовой лампой и камином.

— Но ведь это же безумие! Как вы похожи на свою дочь! — закричал Ипполит Матвеевич полным голосом.

И, уже не стесняясь тем, что находится у постели умирающей, с грохотом отодвинул стул и засеменял по комнате. Старуха безучастно следила за действиями Ипполита Матвеевича.

— Но вы хотя бы представляете себе, куда эти стулья могли попасть? Или вы думаете, быть может, что они смиренхонько стоят в гостиной моего дома и ждут, покуда вы придете забрать ваши р-регалии?

Старуха ничего не ответила.

У делопроизводителя загса от злобы свалилось с носа пенсне и, мелькнув у колен золотой дужкой, грянулось об пол.

— Как? Засадить в стул брильянтов на семьдесят тысяч! В стул, на котором неизвестно кто сидит!..

Тут Клавдия Ивановна всхлипнула и подалась всем корпусом к краю кровати. Рука ее, описав полукруг, пыталась ухватить Ипполита Матвеевича, но тотчас же упала на стеганое фиолетовое одеяло.

Ипполит Матвеевич, повизгивая от страха, бросился к соседке.

— Умирает, кажется!

Агрономша деловито перекрестилась и, не скрывая своего любопытства, вместе с мужем, бородастым агрономом, побежала в дом Ипполита Матвеевича. Сам Воробьянинов ошеломленно забрел в городской сад.

Покуда чета агрономов со своей прислугой прибирала в комнате покойной, Ипполит Матвеевич бродил по саду, натываясь на скамьи и принимая очоленевшие от ранней весенней любви парочки за кусты.

В голове Ипполита Матвеевича творилось черт знает что. Звучали цыганские хоры, грудастые дамские оркестры беспрерывно исполняли «танго-амапа», представлялись ему московская зима и черный длинный рысак, презрительно хрюкающий на пешеходов. Многое представлялось Ипполиту Матвеевичу: и оранжевые упитоленно дорогие кальсоны, и лакейская преданность, и возможная поездка в Канны.

Ипполит Матвеевич зашагал медленнее и вдруг споткнулся о тело гробовых дел мастера Безенчука. Мастер спал, лежа в тулупе поперек садовой дорожки. От толчка он проснулся, чихнул и живо встал.

— Не извольте беспокоиться, господин Воробьянинов, — сказал он горячо, как бы продолжая начатый давеча разговор. — Гроб — он работу любит.

— Умерла Клавдия Ивановна, — сообщил заказчик.

— Ну, царствие небесное, — согласился Безенчук. — Преставилась, значит, старушка... Старушки, они всегда преставляются... Или богу душу отдают, — это смотря какая старушка. Ваша, например, маленькая и в теле, — значит, преставилась. А например, которая покрупнее да похудее — та, считается, богу душу отдает...

— То есть как это считается? У кого это считается?

— У нас и считается. У мастеров. Вот вы, например, мужчина видный, возвышенного роста, хотя и худой. Вы, считается, ежели, не дай бог, помрете, что в ящик сыграли. А который человек торговый, бывшей купеческой гильдии, тот, значит, приказал долго жить. А если кто чином поменьше, дворник, например, или кто из крестьян, про того говорят: перекинулся или ноги протянул. Но самые могучие когда помирают, железнодорожные кондуктора или из начальства кто, то считается, что дуба дают. Так про них и говорят: «А нашто, слышали, дуба дал».

Потрясенный этой странной классификацией человеческих смертей, Ипполит Матвеевич спросил:

— Ну, а когда ты помрешь, как про тебя мастера скажут?

— Я — человек маленький. Скажут: «гигнулся Безенчук». А больше ничего не скажут. — И строго добавил: — Мне дуба дать или сыграть в ящик — невозможно: у меня комплекция мелкая... А с гробом как, господин Воробьянинов? Неужто без кистей и глазету ставить будете?

Но Ипполит Матвеевич, снова потонув в ослепительных мечтах, ничего не ответил и двинулся вперед. Безенчук последовал за ним, подчитывая что-то на пальцах и, по обыкновению, бормоча.

Луна давно сгнула. Было по-зимнему холодно. Лужи снова затянуло ломким вафельным льдом. На улице имени товарища Губернского, куда вышли спутники, ветер дрался с вывесками. Со стороны Старопанской площади, со звуками опускаемой шторы, выехал пожарный обоз на тощих лошадях.



Пожарные, свесив парусиновые ноги с площадки, мотали головами в ка-сках и пели нарочито противными голосами:

Нашему брандмейстеру слава,  
Нашему дорогому товарищу Насосову сла-ава!..

— На свадьбе у Кольки, брандмейстеров сына, гуляли, — равнодушно сказал Безенчук и почесал под тулупом грудь. — Так неужто без газету и без всего делать?

Как раз к этому времени Ипполит Матвеевич уже решил все. «Поеду, — решил он, — найду. А там посмотрим». И в брильянтовых мечтах даже покой-ница теща показалась ему милее, чем была. Он повернулся к Безенчуку:

— Черт с тобой! Делай! Глазетовый! С кистями!

### *Глава III* «ЗЕРЦАЛО ГРЕШНОГО»

Исповедав умирающую Клавдию Ивановну, священник церкви Фрола и Лавра, отец Федор Востриков, вышел из дома Воробьянинова в полном ажи-таже и всю дорогу до своей квартиры прошел, рассеянно глядя по сторонам и смущенно улыбаясь. К концу дороги рассеянность его дошла до такой сте-пени, что он чуть было не угодил под уисполкомовский автомобиль Гос. № 1. Выбравшись из фиолетового тумана, напущенного адской машиной, отец Востриков пришел в совершенное расстройство и, несмотря на почтенный сан и средние годы, проделал остаток пути фривольным полугалопом.

Матушка Катерина Александровна накрывала к ужину. Отец Федор в свободные от всенощной дни любил ужинать рано. Но сейчас, сняв шляпу и теплую, на ватине, рясу, батюшка быстро проскочил в спальню, к удивлению матушки, заперся там и глухим голосом стал напевать «Достойно есть».

Матушка присела на стул и боязливо зашептала:

— Новое дело затеял...

Порывистая душа отца Федора не знала покоя. Не знала она его никогда. Ни тогда, когда он был воспитанником духовного училища, Федей, ни когда он был усатым семинаристом, Федор Иванычем. Перейдя из семинарии в университет и прouchившись на юридическом факультете три года, Востри-ков в 1915 году убоился возможной мобилизации и снова пошел по духовной. Сперва был рукоположен в диаконы, а потом посвящен в сан священника и назначен в уездный город N. И всегда, во всех этапах духовной и граждан-ской карьеры, отец Федор оставался стяжателем.

Мечтал отец Востриков о собственном свечном заводе. Терзаемый виде-нием больших заводских барабанов, наматывающих толстые восковые кана-ты, отец Федор изобретал различные проекты, осуществление которых долж-но было доставить ему основной и оборотный капиталы для покупки давно присмотренного в Самаре завода.

Идеи осеняли отца Федора неожиданно, и он сейчас же принимался за рабо-ту. Отец Федор начинал варить мраморное стирочное мыло; наваривал его гуды, но мыло, хотя и заключало в себе огромный процент жиров, не мылилось и вдобавок стоило втрое дороже, чем «плуг-и-молотовское». Мыло долго потом мокло и разлагалось в сенях, так что Катерина Александровна, проходя мимо него, даже всплакивала. А еще потом мыло выбрасывали в выгребную яму.

Прочитав в каком-то животноводческом журнале, что мясо кроликов неж-но, как у цыпленка, что плодятся они во множестве и что разведение их может принести рачительному хозяину немалые барыши, отец Федор немедленно

обзавелся полдюжиной производителей, и уже через два месяца собака Нерка, испуганная неизмеримым количеством ушастых существ, заполнивших двор и дом, сбежала неизвестно куда. Проклятые обыватели города N оказались чрезвычайно консервативными и с редким единодушием не покупали востриковских кроликов. Тогда отец Федор, переговорив с попадшей, решил украсить свое меню кроликами, мясо которых превосходит по вкусу мясо цыплят. Из кроликов приготавливали жаркое, битки, пожарские котлеты; кроликов варили в супе, подавали к ужину в холодном виде и запекали в бабки. Это не привело ни к чему. Отец Федор подсчитал, что при переходе исключительно на кроличий паек семья сможет съесть за месяц не больше сорока животных, в то время как ежемесячный приплод составляет девяносто штук, причем число это с каждым месяцем будет увеличиваться в геометрической прогрессии.

Тогда Востриковы решили давать домашние обеды. Отец Федор весь вечер писал химическим карандашом на аккуратно нарезанных листках арифметической бумаги объявления о даче вкусных домашних обедов, приготавливаемых исключительно на свежем коровьем масле. Объявление начиналось словами: «Дешево и вкусно». Попадья наполнила эмалированную мисочку мучным клейстером, и отец Федор поздно вечером налепил объявления на всех телеграфных столбах и поблизости советских учреждений.

Новая затея имела большой успех. В первый же день явилось семь человек, в том числе делопроизводитель военкомата Бендин и заведующий подотделом благоустройства Козлов, тщанием которого недавно был снесен единственный в городе памятник старины — Триумфальная арка елисаветинских времен, мешавшая, по его словам, уличному движению. Всем им обед очень понравился. На другой день явилось четырнадцать человек. С кроликов не успевали сдирать шкурки. Целую неделю дело шло великолепно, и отец Федор уже подумывал об открытии небольшого скорняжного производства, без мотора, когда произошел совершенно непредвиденный случай.

Кооператив «Плуг и молот», который был заперт уже три недели по случаю переучета товаров, открылся, и работники прилавка, пыхтя от усилий, выкатили на задний двор, общий с двором отца Федора, бочку гнилой капусты, которую и свалили в выгребную яму. Привлеченные пикантным запахом, кролики сбежались к яме, и уже на другое утро среди нежных грызунов начался мор. Свиристествовал он всего только три часа, но уложил двести сорок производителей и не поддающийся учету приплод.

Ошеломленный отец Федор притих на целых два месяца и взыграл духом только теперь, возвратясь из дома Воробьянинова и запершись, к удивлению матушки, в спальне. Все указывало на то, что отец Федор озарен новой идеей, захватившей всю его душу.

Катерина Александровна косточкой согнутого пальца постучала в дверь спальни. Ответа не было, только усилилось пение. Через минуту дверь приоткрылась, и в щели показалось лицо отца Федора, на котором играл девичий румянец.

— Дай мне, мать, ножницы поскорее, — быстро проговорил отец Федор.

— А ужин как же?

— Ладно. Потом.

Отец Федор схватил ножницы, снова заперся и подошел к стенному зеркалу в поцарапанной черной раме.

Рядом с зеркалом висела старинная народная картинка «Зерцало грешного», печатанная с медной доски и приятно раскрашенная рукой. Особенно утешило отца Федора «Зерцало грешного» после неудачи с кроликами. Лубок ясно показывал бренность всего земного. По верхнему его ряду шли четыре рисунка, подписанные славянской вязью, значительные и умиротворяющие душу: «Сим молитву деет, Хам пшеницу сеет, Яфет власть имеет. Смерть всем

владеет». Смерть была с косою и песочными часами с крыльями. Она была сделана как бы из протезов и ортопедических частей и стояла, широко расставив ноги, на пустой холмистой земле. Вид ее ясно говорил, что неудача с кроликами — дело пустое.

Сейчас отцу Федору больше понравилась картинка «Яфет власть имеет». Тучный богатый человек с бороδοю сидел в маленьком зальце на троне.

Отец Федор улыбнулся и, внимательно глядя на себя в зеркало, начал подстригать свою благообразную бороду. Волосы сыпались на пол, ножницы скрипели, и через пять минут отец Федор убедился, что подстригать бороду он совершенно не умеет. Борода его оказалась скошенной на один бок, неприличной и даже подозрительной.

Помаячив у зеркала еще немного, отец Федор обозлился, позвал жену и, протягивая ей ножницы, раздраженно сказал:

— Помоги мне хоть ты, матушка. Никак не могу вот с волосищами своими справиться.

Матушка от удивления даже руки назад отвела.

— Что же ты над собой сделал? — вымолвила она наконец.

— Ничего не сделал. Подстригаюсь. Помоги, пожалуйста. Вот здесь как будто скособочилось...

— Господи, — сказала матушка, посягая на локоны отца Федора, — ну-жели, Феденька, ты к обновленцам перейти собрался?

Такую направлению разговора отец Федор обрадовался.

— А почему, мать, не перейти мне к обновленцам? А обновленцы что — не люди?

— Люди, конечно люди, — согласилась матушка ядовито, — как же: по иллюзионам ходят, алименты платят...

— Ну, и я по иллюзионам буду бегать.

— Бегай, пожалуйста.

— И буду бегать.

— Добегаешься. Ты в зеркало на себя посмотри.

И действительно, из зеркала на отца Федора глянула бойкая черноглазая физиономия с небольшой дикой бородкой и нелепо длинными усами.

Стали подстригать усы, доводя их до пропорциональных размеров.

Дальнейшее еще более поразило матушку. Отец Федор заявил, что этим же вечером должен выехать по делу, и потребовал, чтобы Катерина Александровна сбегала к брату-булочнику и взяла у него на неделю пальто с барашковым воротником и коричневый утиный картуз.

— Никуда не пойду! — заявила матушка и заплакала.

Полчаса шагал отец Федор по комнате и, пугая жену изменившимся своим лицом, молот чепуху. Матушка поняла только одно: отец Федор ни с того ни с сего острится, хочет в дурачком картузе ехать неизвестно куда, а ее бросает.

— Не бросаю, — твердил отец Федор, — не бросаю, через неделю буду назад. Ведь может же быть у человека дело. Может или не может?

— Не может, — говорила попадья.

Отцу Федору, человеку в обращении с ближними кроткому, пришлось даже постучать кулаком по столу. Хотя стучал он осторожно и неумело, так как никогда этого раньше не делал, попадья все же очень испугалась и, накинув платок, побежала к брату за штатской одеждой.

Оставшись один, отец Федор с минуту подумал, сказал: «Женщинам тоже тяжело», — и выгнул из-под кровати сундучок, обитый жестью. Такие сундучки встречаются по большей части у красноармейцев. Оклеены они полосатыми обоями, поверх которых красуется портрет Буденного или картонка от папиросной коробки «Пляж» с тремя красавицами, лежащими на усыпанном галькой батумском берегу. Сундучок Востриковых, к неудовольствию отца Федора,

также был оклеен картинками, но не было там ни Буденного, ни батумских красоток. Попадая залепила все нутро сундучка фотографиями, вырезанными из журнала «Летопись войны 1914 года». Тут было и «Взятие Перемышля», и «Раздача теплых вещей нижним чином на позициях», и мало ли что еще там было.

Выложив на пол лежавшие сверху книги: комплект журнала «Русский папаломник» за 1903 год, толстеннейшую «Историю раскола» и брошюрку «Русский в Италии», на обложке которой отпечатан буд курящийся Везувий, отец Федор запустил руку на самое дно сундучка и вытащил старый, обтерханный женин капор. Зажмурившись от запаха нафталина, который внезапно ударил из сундучка, отец Федор, разрывая кружевца и прошвы, вынул из капора тяжелую полотняную колбаску. Колбаска содержала в себе двадцать золотых десяток — все, что осталось от коммерческих авантюр отца Федора.

Он привычным движением руки приподнял полу рясы и засунул колбаску в карман полосатых брюк. Потом подошел к комоду и вынул из конфетной коробки пятьдесят рублей трехрублевками и пятирублевками. В коробке оставалось еще двадцать рублей.

— На хозяйство хватит, — решил он.

#### *Глава IV* МУЗА ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

За час до прихода вечернего почтового поезда отец Федор, в коротеньком, чуть ниже колен пальто и с плетеной корзинкой, стоял в очереди у кассы и боязливо поглядывал на входные двери. Он боялся, что матушка, противно его настоянию, прибежит на вокзал провожать, и тогда палаточник Прусис, сидевший в буфете и угощавший пивом финагента, сразу его узнает. Отец Федор с удивлением и стыдом посматривал на свои открытые взорам всех мирян полосатые брюки.

Посадка в бесплацикартный поезд носила обычный скандальный характер. Пассажиры, согнувшись под тяжестью преогромных мешков, бегали от головы назад к хвосту и от хвоста к голове. Отец Федор ошеломленно бежал со всеми. Он так же, как и все, говорил с проводниками искательным голосом, так же, как и все, боялся, что кассир дал ему «неправильный» билет, и только впущенный наконец в вагон вернулся к обычному спокойствию и даже повеселел.

Паровоз закричал полным голосом, и поезд тронулся, увозя с собой отца Федора в неизвестную даль по делу загадочному, но сулящему, как видно, большие выгоды.

Интересная штука — полоса отчуждения. Самый обыкновенный гражданин, попав в нее, чувствует в себе некоторую хлопотливость и быстро превращается либо в пассажира, либо в грузополучателя, либо просто в безбилетного забулдыгу, омрачающего жизнь и служебную деятельность кондукторских бригад и перронных контролеров.

С той минуты, когда гражданин вступает в полосу отчуждения, которую он по-дилетантски называет вокзалом или станцией, жизнь его резко меняется. Сейчас же к нему подскакивают Ермаки Тимофеевичи в белых передниках с никелированными бляхами на сердце и услужливо подхватывают багаж. С этой минуты гражданин уже не принадлежит самому себе. Он — пассажир и начинает исполнять все обязанности пассажира. Обязанности эти многосложны, но приятны.

Пассажир очень много ест. Простые смертные по ночам не едят, но пассажир ест и ночью. Ест он жареного цыпленка, который для него дорог, крутые яйца, вредные для желудка, и маслины. Когда поезд прорезает стрелку, на полках бряцают многочисленные чайники и подпрыгивают за-

вернутые в газетные кульки цыплята, лишенные ножек, с корнем вырванных пассажирами.

Но пассажиры ничего этого не замечают. Они рассказывают анекдоты. Регулярно через каждые три минуты весь вагон надсаживается от смеха. Затем наступает тишина, и бархатный голос докладывает следующий анекдот:

— Умирает старый еврей. Тут жена стоит, дети. «А Моня здесь?» — еврей спрашивает еле-еле. «Здесь». — «А тетя Брана пришла?» — «Пришла». — «А где бабушка? Я ее не вижу». — «Вот она стоит». — «А Исак?» — «Исак тут». — «А дети?» — «Вот все дети». — «Кто же в лавке остался?!»

Сию же секунду чайники начинают бряцать, и цыплята летают на верхних полках, потревоженные громовым смехом. Но пассажиры этого не замечают. У каждого на сердце лежит заветный анекдот, который, трепыхаясь, дожидается своей очереди. Новый исполнитель, толкая локтем соседей и умоляюще крича: «А вот мне рассказывали!» — с трудом завладевает вниманием и начинает:

— Один еврей приходит домой и ложится спать рядом со своей женой. Вдруг он слышит — под кроватью кто-то скребется. Еврей опустил под кровать руку и спрашивает: «Это ты, Джек?» А Джек лизнул руку и отвечает: «Это я».

Пассажиры умирают от смеха, темная ночь закрывает поля, из паровой трубы вылетают вертлявые искры, и тонкие семафоры в светящихся зеленых очках шепетильно проносятся мимо, глядя вверх поезда.

Интересная штука — полоса отчуждения! Во все концы страны бегут длинные тяжелые поезда дальнего следования. Всюду открыта дорога. Везде горит зеленый огонь — путь свободен. Полярный экспресс подымается к Мурманску. Согнувшись и сгорбясь на стрелке, с Курского вокзала выскакивает «Первый — К», прокладывая путь на Тифлис. Дальневосточный курьер огибает Байкал, полным ходом приближаясь к Тихому океану.

Муза дальних странствий манит человека. Уже вырвала она отца Федора из тихой уездной обители и бросила невесть в какую губернию. Уже и бывший предводитель дворянства, а ныне делопроизводитель загса Ипполит Матвеевич Воробьянинов потревожен в самом нутре своем и задумал черт знает что такое.

Носит людей по стране. Один за десять тысяч километров от места службы находит себе сияющую невесту. Другой в погоне за сокровищами бросает почтово-телеграфное отделение и, как школьник, бежит на Алдан. А третий так и сидит себе дома, любовно поглаживая созревшую грыжу и читая сочинения графа Салиаса, купленные вместо рубля за пять копеек.

На второй день после похорон, управление которыми любезно взял на себя гробовой мастер Безенчук, Ипполит Матвеевич отправился на службу и, исполняя возложенные на него обязанности, зарегистрировал собственноручно кончину Клавдии Ивановны Петуховой, пятидесяти девяти лет, домашней хозяйки, беспартийной, жительство имевшей в уездном городе N и родом происходившей из дворян Старгородской губернии. Затем Ипполит Матвеевич испросил себе узаконенный двухнедельный отпуск, получил сорок один рубль отпускных и, распрощавшись с сослуживцами, отправился домой. По дороге он завернул в аптеку.

Провизор Леопольд Григорьевич, которого домашние и друзья называли Липа, стоял за красным лакированным прилавком, окруженный молочными банками с ядом, и с нервностью продавал свояченице брендмейстера «крем Анго, против загара и веснушек, придает исключительную белизну коже». Свояченица брендмейстера, однако, требовала «пудру Рашель золотистого цвета, придает телу ровный, недостижимый в природе загар». Но в аптеке был только крем Анго, против загара, и борьба столь противоположных продуктов парфюмерии длилась полчаса. Победил все-таки Липа, продавший

свояченице брендмейстера губную помаду и клоповар — прибор, построенный по принципу самовара, но имеющий внешний вид лейки.

— Что вы хотели?

— Средство для волос.

— Для рашения, уничтожения, окраски?

— Какое там рашение! — сказал Ипполит Матвеевич. — Для окраски.

— Для окраски есть замечательное средство «Титаник». Получено с таможни. Контрабандный товар. Не смывается ни холодной, ни горячей водой, ни мыльной пеной, ни керосином. Радикальный черный цвет. Флакон на полгода стоит три рубля двенадцать копеек. Рекомендую как хорошему знакомому.

Ипполит Матвеевич повертел в руках квадратный флакон «Титаника», со вздохом посмотрел на этикетку и выложил деньги на прилавок.

Ипполит Матвеевич возвратился домой и с омерзением стал поливать голову и усы «Титаником». По квартире распространилось зловоние.

После обеда вонь убавилась, усы обсохли, слиплись, и расчесать их можно было только с большим трудом. Радикальный черный цвет оказался с несколько зеленоватым отливом, но вторично красить уже было некогда.

Ипполит Матвеевич вынул из тещиной шкапулки найденный им накануне список драгоценностей, пересчитал все наличные деньги, запер квартиру, спрятал ключи в задний карман, сел в ускоренный № 7 и уехал в Старгород.

## Глава V

### ВЕЛИКИЙ КОМБИНАТОР

В половине двенадцатого с северо-запада, со стороны деревни Чмаровки, в Старгород вошел молодой человек лет двадцати восьми. За ним бежал беспризорный.

— Дядя, — весело кричал он, — дай десять копеек!

Молодой человек вынул из кармана нагретое яблоко и подал его беспризорному, но тот не отставал. Тогда пешеход остановился, иронически посмотрел на мальчика и тихо сказал:

— Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?

Зарвавшийся беспризорный понял всю беспочвенность своих претензий и отстал.

Молодой человек солгал: у него не было ни денег, ни квартиры, где они могли бы лежать, ни ключа, которым можно было бы квартиру отпереть. У него не было даже пальто. В город молодой человек вошел в зеленом в талию костюме. Его могучая шея была несколько раз обернута старым шерстяным шарфом, ноги были в лаковых штиблетах с замшевым верхом апельсинового цвета. Носков под штиблетами не было. В руке молодой человек держал астролябию.

«О баядерка, ти-ри-рим, ти-ри-ра!» — запел он, подходя к привозному рынку.

Тут для него нашлось много дела. Он втиснулся в шеренгу продавцов, торговавших на развале, выставил вперед астролябию и серьезным голосом стал кричать:

— Кому астролябию? Дешево продается астролябия! Для делегаций и жепотделов скидка.

Неожиданное предложение долгое время не рождало спроса. Делегации домашних хозяек больше интересовались дефицитными товарами и толпились у мануфактурных палаток. Мимо продавца астролябии уже два раза прошел агент Старгуброзьска. Но так как астролябия ни в какой мере не походила на украденную вчера из канцелярии Маслоцентра пишущую машинку, агент перестал магнетизировать молодого человека глазами и ушел.



К обеду астролябия была продана слесарю за три рубля.

— Сама меряет, — сказал молодой человек, передавая астролябию покупателю, — было бы что мерять.

Освободившись от хитрого инструмента, веселый молодой человек пообедал в столовой «Уголок вкуса» и пошел осматривать город. Он прошел Советскую улицу, вышел на Красноармейскую (бывшая Большая Пушкинская), пересек Кооперативную и снова очутился на Советской. Но это была уже не та Советская, которую он прошел: в городе было две Советских улицы. Немало подивившись этому обстоятельству, молодой человек очутился на улице Ленских событий (бывшей Денисовской). Подле красивого двухэтажного особняка № 28 с вывеской:

СССР, РСФСР  
2-Й ДОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
СТАРГУБСТРАХА

молодой человек остановился, чтобы прикурить у дворника, который сидел на каменной скамеечке при воротах.

— А что, отец, — спросил молодой человек, затянувшись, — невесты у вас в городе есть?

Старик дворник ничуть не удивился.

— Кому и кобыла невеста, — ответил он, охотно ввязываясь в разговор.

— Больше вопросов не имею, — быстро проговорил молодой человек.

И сейчас же задал новый вопрос:

— В таком доме да без невест?

— наших невест, — возразил дворник, — давно на том свете с фонарями ищут. У нас тут государственная богадельня: старухи живут на полном пенсионе.

— Понимаю. Это которые еще до исторического материализма родились?

— Уж это верно. Когда родились, тогда и родились.

— А в этом доме что было до исторического материализма?

— Когда было?

— Да тогда, при старом режиме.

— А, при старом режиме барин мой жил.

— Буржуй?

— Сам ты буржуй! Сказано тебе — предводитель дворянства.

— Пролетарий, значит?

— Сам ты пролетарий! Сказано тебе — предводитель.

Разговор с умным дворником, слабо разбиравшимся в классовой структуре общества, продолжался бы еще бог знает сколько времени, если бы молодой человек не взялся за дело решительно.

— Вот что, дедушка, — молвил он, — неплохо бы вина выпить.

— Ну, угости.

На час оба исчезли, а когда вернулись назад, дворник был уже вернейшим другом молодого человека.

— Так я у тебя переночую, — говорил новый друг.

— По мне хоть всю жизнь живи, раз хороший человек.

Добившись так быстро своей цели, гость проворно спустился в дворничью, снял апельсиновые штiblеты и растянулся на скамейке, обдумывая план действий на завтра.

Звали молодого человека Остап Бендер. Из своей биографии он обычно сообщал только одну подробность: «Мой папа, — говорил он, — был турецко-подданный». Сын турецко-подданного за свою жизнь переменял много занятий. Живость характера, мешавшая ему посвятить себя какому-нибудь

делу, постоянно кидала его в разные концы страны и теперь привела в Старгород без носков, без ключа, без квартиры и без денег.

Лежа в теплой до вонючести дворницкой, Остап Бендер отшлифовывал в мыслях два возможных варианта своей карьеры.

Можно было сделаться многоженцем и спокойно переезжать из города в город, таская за собой новый чемодан с захваченными у дежурной жены ценными вещами.

А можно было завтра же пойти в Стардеткомиссию и предложить им взять на себя распространение еще не написанной, но гениально задуманной картины: «Большевики пишут письмо Чемберлену», по популярной картине художника Репина: «Запорожцы пишут письмо султану». В случае удачи этот вариант мог бы принести рублей четыреста.

Оба варианта были задуманы Остапом во время его последнего пребывания в Москве. Вариант с многоженством родился под влиянием вычитанного в вечерней газете судебного отчета, где ясно указывалось, что некий многоженец получил всего два года без строгой изоляции. Вариант № 2 родился в голове Бендера, когда он по контрамарке обозревал выставку АХРР.

Однако оба проекта имели свои недостатки. Начать карьеру многоженца без дивного, серого в яблоках костюма было невозможно. К тому же нужно было иметь хотя бы десять рублей для представительства и обольщения. Можно было, конечно, жениться и в походном зеленом костюме, потому что мужская сила и красота Бендера были совершенно неотразимы для провинциальных Маргарит на выданье, но это было бы, как говорил Остап: «Низкий сорт, нечистая работа». С картиной тоже не все обстояло гладко: могли встретиться чисто технические затруднения. Удобно ли будет рисовать т. Калинина в папаче и белой бурке, а т. Чичерина — голым по поясу? В случае чего можно, конечно, нарисовать всех персонажей в обычных костюмах, но это уже не то.

— Не будет того эффекта! — произнес Остап вслух.

Тут он заметил, что дворник уже давно о чем-то горячо говорит. Оказывается, дворник предался воспоминаниям о бывшем владельце дома:

— Полицейстер ему честь отдавал... Приходишь к нему, положим, буду говорить, на Новый год с поздравлением — трешку дает... На Пасху, положим, буду говорить, еще трешку. Да, положим, в день ангела ихнего поздравляешь... Ну, вот одних поздравительных за год рублей пятнадцать и набежит... Медаль даже обещался мне представить. «Я, говорит, хочу, чтобы дворник у меня с медалью был». Так и говорил: «Ты, Тихон, считай себя уже с медалью...»

— Ну и что, дали?

— Ты погоди... «Мне, говорит, дворника без медали не нужно». В Санкт-Петербург поехал за медалью. Ну, в первый раз, буду говорить, не вышло. Господа чиновники не захотели. «Царь, говорят, в заграницу уехал, сейчас невозможно». Приказал мне барин ждать. «Ты, говорит, Тихон, жди, без медали не будешь».

— А твоего барина что, шлепнули? — неожиданно спросил Остап.

— Никто не шлепал. Сам уехал. Что ему тут было с солдатней сидеть... А теперь медали за дворницкую службу дают?

— Дают. Могу тебе выхлопотать.

Дворник с уважением посмотрел на Бендера.

— Мне без медали нельзя. У меня служба такая.

— Куда ж твой барин уехал?

— А кто его знает! Люди говорили, в Париж уехал.

— А!.. Белой акации, цветы эмиграции... Он, значит, эмигрант?

— Сам ты эмигрант... В Париж, люди говорят, уехал. А дом под старух забрали... Их хоть каждый день поздравляй — гривенника не получишь!.. Эх! Барин был!..



---

**ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК**  
РОМАН

---

### ОТ АВТОРОВ

Обычно по поводу нашего обобщественного литературного хозяйства к нам обращаются с вопросом, вполне законным, но весьма однообразным: «Как это вы пишете вдвоем?»

Сначала мы отвечали подробно, вдавались в детали, рассказывали даже о крупной ссоре, возникшей по следующему поводу: убить ли героя романа «12 стульев» Остапа Бендера или оставить в живых? Не забывали упомянуть о том, что участь героя решилась жребием. В сахарницу были положены две бумажки, на одной из которых дрожащей рукой был изображен череп и две куриные косточки. Вынул череп — и через полчаса великого комбинатора не стало, он был прирезан бритвой.

Потом мы стали отвечать менее подробно. О ссоре уже не рассказывали. Еще потом перестали вдаваться в детали. И, наконец, отвечали совсем уже без воодушевления:

— Как мы пишем вдвоем? Да так и пишем вдвоем. Как братья Гонкуры! Эдмонд бегаёт по редакциям, а Жюль стережет рукопись, чтобы не украли знакомые.

И вдруг единообразие вопросов было нарушено.

— Скажите, — спросил нас некий строгий гражданин, из числа тех, что признали советскую власть несколько позже Англии и чуть раньше Греции, — скажите, почему вы пишете смешно? Что за смешки в реконструктивный период? Вы что, с ума сошли?

После этого он долго и сердито убеждал нас в том, что сейчас смех вреден.

— Смеяться грешно! — говорил он. — Да, смеяться нельзя. И улыбаться нельзя! Когда я вижу эту новую жизнь и эти сдвиги, мне не хочется улыбаться, мне хочется молиться!

— Но ведь мы не просто смеемся, — возражали мы. — Наша цель — сатира именно на тех людей, которые не понимают реконструктивного периода.

— Сатира не может быть смешной, — сказал строгий товарищ и, подхватив под руку какого-то кустаря-баптиста, которого он принял за стопроцентного пролетария, повел его к себе на квартиру.

Повел описывать скучными словами, повел вставлять в шеститомный роман под названием: «А паразиты никогда!»

Все рассказанное — не выдумка. Выдумать можно было бы и посмешнее.

Дайте такому гражданину-аллилуйщику волю, и он даже на мужчин надеет паранджу, а сам с утра будет играть на трубе гимны и псалмы, считая, что именно таким образом надо помогать строительству социализма.

И все время, покуда мы сочиняли «Золотого теленка», над нами реял лик строгого гражданина.

— А вдруг эта глава выйдет смешной? Что скажет строгий гражданин?

И в конце концов мы постановили:

- а) роман написать по возможности веселый,  
б) буде строгий гражданин снова заявит, что сатира не должна быть смешной, — просить прокурора республики т. Крыленко привлечь помянутого гражданина к уголовной ответственности по статье, карающей за головотяпство со взломом.

*И. Ильф, Е. Петров*

## Часть первая ЭКИПАЖ «АНТИЛОПЫ»

### Глава I

#### О ТОМ, КАК ПАНИКОВСКИЙ НАРУШИЛ КОНВЕНЦИЮ

Пешеходов надо любить.

Пешеходы составляют большую часть человечества. Мало того — лучшую его часть. Пешеходы создали мир. Это они построили города, возвели многоэтажные здания, провели канализацию и водопровод, замостили улицы и осветили их электрическими лампами. Это они распространили культуру по всему свету, изобрели книгопечатание, выдумали порох, перебросили мосты через реки, расшифровали египетские иероглифы, ввели в употребление безопасную бритву, уничтожили торговлю рабами и установили, что из бобов сои можно изготовить сто четырнадцать вкусных питательных блюд.

И когда все было готово, когда родная планета приняла сравнительно благоустроенный вид, появились автомобилисты.

Надо заметить, что автомобиль тоже был изобретен пешеходом. Но автомобилисты об этом как-то сразу забыли. Кротких и умных пешеходов стали давить. Улицы, созданные пешеходами, перешли во власть автомобилистов. Мостовые стали вдвое шире, тротуары сузились до размера табачной бандероли. И пешеходы стали испуганно жаться к стенам домов.

В большом городе пешеходы ведут мученическую жизнь. Для них ввели некое транспортное гетто. Им разрешают переходить улицы только на перекрестках, то есть именно в тех местах, где движение сильнее всего и где волосок, на котором обычно висит жизнь пешехода, легче всего оборвать.

В нашей обширной стране обыкновенный автомобиль, предназначенный, по мысли пешеходов, для мирной перевозки людей и грузов, принял грозные очертания братоубийственного снаряда. Он выводит из строя целые шеренги членов профсоюзов и их семей.

Если пешеходу иной раз удастся выпорхнуть из-под серебряного носа машины, — его штрафует милиция за нарушение правил уличного катехизиса.

И вообще авторитет пешеходов сильно пошатнулся. Они, давшие миру таких замечательных людей, как Гораций, Бойль, Мариотт, Лобачевский и Гуттенберг, Мейерхольд и Анатолий Франс, — принуждены теперь кривляться самым пошлым образом, чтобы только напомнить о своем существовании. Боже, боже, которого, в сущности, нет! До чего ты, которого на самом деле-то и нет, довел пешехода!

Вот идет он из Владивостока в Москву по сибирскому тракту, держа в одной руке знамя с надписью: «Перестроим быт текстильщиков» и перекинув через плечо палку, на конце которой болтаются резервные сандалии «Дядя Ваня» и жестяной чайник без крышки. Это советский пешеход-физкультурник, который вышел из Владивостока юношей и на склоне лет у самых ворот Москвы будет задавлен тяжелым автокаром, номер которого так и не успеют заметить.

Или другой, европейский, могикан пешеходного движения. Он идет пешком вокруг света, катя перед собой бочку. Он охотно пошел бы так, без бочки;

но тогда никто не заметит, что он действительно пешеход дальнего следования, и про него не напишут в газетах. Приходится всю жизнь толкать перед собой проклятую тару, на которой к тому же (позор, позор!) выведена большая желтая надпись, восхваляющая непревзойденные качества автомобильного масла «Грезы шофера».

Так деградировал пешеход.

И только в маленьких русских городах пешехода еще уважают и любят. Там он еще является хозяином улиц, беззаботно бродит по мостовой и пересекает ее самым замысловатым образом в любом направлении.

Гражданин в фуражке с белым верхом, какую по большей части носят администраторы летних садов и конференсье, несомненно принадлежал к большей и лучшей части человечества. Он двигался по улицам города Арбата пешком, со снисходительным любопытством озираясь по сторонам. В руке он держал небольшой акушерский саквояж. Город, видимо, ничем не поразил пешехода в артистической фуражке.

Он увидел десятка полтора голубых, резедовых и бело-розовых звонниц; бросилось ему в глаза облезлое кавказское золото церковных куполов. Флаг клубничного цвета трещал над официальным зданием.

У белых башенных ворот провинциального кремля две суровые старухи разговаривали по-французски, жаловались на советскую власть и вспоминали любимых дочерей. Из церковного подвала несло холодом, бил оттуда кислый винный запах. Там, как видно, хранился картофель.

— Храм Спаса на картошке, — негромко сказал пешеход.

Пройдя под фанерной аркой со свежим известковым лозунгом: «Привет 5-й окружной конференции женщин и девушек», он очутился у начала длинной аллеи, именовавшейся Бульваром Молодых Дарований.

— Нет, — сказал он с огорчением, — это не Рио-де-Жанейро, это гораздо хуже.

Почти на всех скамьях Бульвара Молодых Дарований сидели одинокие девицы с раскрытыми книжками в руках. Дырявые тени падали на страницы книг, на голые локти, на трогательные челки. Когда приезжий вступил в прохладную аллею, на скамьях произошло заметное движение. Девушки, прикрывшись книгами Гладкова, Элизы Ожешко и Сейфуллиной, бросали на приезжего трусливые взгляды. Он проследовал мимо взволнованных читательниц парадным шагом и вышел к зданию исполкома — цели своей прогулки.

В эту минуту из-за угла выехал извозчик. Рядом с ним, держась за пыльное облупленное крыло экипажа и размахивая вздутой папкой с тисненой надписью «Musique», быстро шел человек в длиннополой толстовке. Он что-то горячо доказывал седоку. Седок — пожилой мужчина с висячим, как банан, носом — сжимал ногами чехол и время от времени показывал своему собеседнику кукиш. В пылу спора его инженерская фуражка, околыш которой сверкала зеленым диванным плюшем, покосилась набок. Обе тяжущиеся стороны часто и особенно громко произносили слово «оклад».

Вскоре стали слышны и прочие слова.

— Вы за это ответите, товарищ Талмудовский! — крикнул длиннополой, отводя от своего лица инженерский кукиш.

— А я вам говорю, что на такие условия к вам не поедет ни один приличный специалист! — ответил Талмудовский, стараясь вернуть кукиш на прежнюю позицию.

— Вы опять про оклад жалованья! Придется поставить вопрос о рвачестве.

— Плевал я на оклад! Я даром буду работать! — кричал инженер, взволнованно описывая кукишем всевозможные кривые. — Захочу — и вообще иду на пенсию. Вы это крепостное право бросьте! Сами всюду пишите «Свобода, равенство и братство», а меня хотят заставить работать в этой крысиной норе.

Тут инженер Талмудовский быстро разжал кукиш и принялся считать по пальцам:

— Квартира — свиношник, театра нет, оклад... Извозчик! Пошел на вокзал!  
— Тпру-у! — завизжал длиннополый, суетливо забегая вперед и хватая лошадь под узды. — Я, как секретарь секции инженеров и техников... Кондрат Иванович! Ведь завод останется без специалистов!.. Побойтесь бога!.. Общественность этого не допустит, инженер Талмудовский... У меня в портфеле протокол.

И секретарь секции, расставив ноги, стал живо развязывать тесемки своей «Musique».

Эта неосторожность решила спор. Увидев, что путь свободен, Талмудовский поднялся на ноги и что есть силы закрычал:

— Пошел на вокзал!

— Куда? Куда? — залепетал секретарь, устремляясь за экипажем. — Вы — дезертир трудового фронта!

Из папки «Musique» вылетели листки папиросной бумаги с какими-то ликовыми «слушали — постановили».

Приезжий, с интересом наблюдавший инцидент, постоял с минуту на опустевшей площади и убежденным тоном сказал:

— Нет, это не Рио-де-Жанейро.

Через минуту он уже стучался в дверь кабинета predisполкома.

— Вам кого? — спросил его секретарь, сидевший за столом, рядом с дверью. — Зачем вам к председателю? По какому делу?

Как видно, посетитель тонко знал систему обращения с секретарями правительственных, хозяйственных и общественных организаций. Он не стал заявлять, что прибыл по срочному, казенному делу.

— По личному, — сухо сказал он, не оглядываясь на секретаря и засовывая голову в дверную щель. — К вам можно?

И, не дожидаясь ответа, приблизился к письменному столу.

— Здравствуйте, вы меня узнаете?

Председатель, черноглазый большеголовый человек в синем пиджаке и в таких же брюках, заправленных в сапоги на высоких скороходовских каблучках, посмотрел на посетителя довольно рассеянно и заявил, что не узнает.

— Неужели не узнаете? А между тем многие находят, что я поразительно похож на своего отца.

— Я тоже похож на своего отца, — нетерпеливо сказал председатель. — Вам чего, товарищ?

— Тут все дело в том, какой отец, — грустно заметил посетитель. — Я сын лейтенанта Шмидта.

Председатель смутился и привстал. Он живо вспомнил знаменитый облик революционного лейтенанта с бледным лицом и в черной пелерине с бронзовыми львиными застежками. Пока он собирался с мыслями, чтобы задать сыну черноморского героя приличествующий случаю вопрос, посетитель присматривался к мебелировке кабинета взглядом разборчивого покупателя.

Когда-то, в царские времена, мебелировка присутственных мест производилась по трафарету. Выращена была особая порода казенной мебели: плоские, уходящие под потолок шкафы, деревянные диваны с трехдюймовыми полированными сиденьями, столы на толстых бильярдных ногах и дубовые парапеты, отделявшие присутствие от внешнего беспокойного мира. За время революции эта порода мебели почти исчезла, и секрет ее выработки был утерян. Люди забыли, как нужно обставлять помещения должностных лиц, и в служебных кабинетах появились предметы, считавшиеся до сих пор неотъемлемой принадлежностью частной квартиры. В учреждениях появились пружинные адвокатские диваны с зеркальной полочкой для семи фарфоровых слонов, которые якобы приносят счастье, горки для посуды, этажерочки, специальные кожаные кресла для ревматиков и голубые японские вазы. В кабинете председателя арбатовского исполкома, кроме обычного пи-

сьменного стола, прижились два пуфика, обитых полопавшимся розовым шелком, полосатая козетка, атласный экран с Фудзиямой и вишней в цвету и зеркальный славянский шкаф грубой рыночной работы.

«А шкафчик-то типа «Гей, славяне!», — подумал посетитель. — Тут много не возьмешь. Нет, это не Рио-де-Жанейро».

— Очень хорошо, что вы зашли, — сказал наконец председатель. — Вы, вероятно, из Москвы?

— Да, проездом, — ответил посетитель, разглядывая козетку и все более убеждаясь, что финансовые дела исполкома плохи. Он предпочитал исполкомы, обставленные новой шведской мебелью ленинградского древтреста.

Председатель хотел было спросить о цели приезда лейтенантского сына в Арбат, но неожиданно для самого себя жалобно улыбнулся и сказал:

— Церкви у нас замечательные. Тут уже из Главнауки приезжали, собираются реставрировать. Скажите, а вы-то сами помните восстание на броненосце «Очаков»?

— Смутно, смутно, — ответил посетитель. — В то героическое время я был еще крайне мал. Я был дитя.

— Простите, а как ваше имя?

— Николай... Николай Шмидт.

— А по батюшке?

«Ах, как нехорошо», — подумал посетитель, который и сам не знал имени своего отца.

— Да-а, — протянул он, уклоняясь от прямого ответа, — теперь многие не знают имен героев. Угар нэпа. Нет того энтузиазма. Я, собственно, попал к вам в город совершенно случайно. Дорожная неприятность. Остался без копейки.

Председатель очень обрадовался перемене разговора. Ему показалось позорным, что он забыл имя очаковского героя.

«Действительно, — думал он, с любовью глядя на воодушевленное лицо гостя, — глоснешь тут за работой. Великие вехи забываешь».

— Как вы говорите? Без копейки? Это интересно.

— Конечно, я мог бы обратиться к частному лицу, — сказал посетитель, — мне всякий даст, но, вы понимаете, это не совсем удобно с политической точки зрения... Сын революционера и вдруг просит денег у частника, у нэпмана...

Последние слова сын лейтенанта произнес с надрывом. Председатель тревожно прислушался к новым интонациям в голосе посетителя. «А вдруг припадочный, — подумал он, — хлопот с ним не оберешься».

— И очень хорошо сделали, что не обратились к частнику, — сказал вконец запутавшийся председатель.

Затем сын черноморского героя мягко, без нажима перешел к делу. Он просил пятьдесят рублей. Председатель, стесненный узкими рамками местного бюджета, смог дать только восемь рублей и три талона на обед в кооперативной столовой «Бывший друг желудка».

Сын героя уложил деньги и талоны в глубокий карман поношенного, серого в блоках пиджака и уже собрался было подняться с розового пуфика, когда за дверью кабинета послышался топот и заградительный возглас секретаря.

Дверь поспешно растворилась, и на пороге ее показался новый посетитель.

— Кто здесь главный? — спросил он, тяжело дыша и рыская блудливыми глазами.

— Ну, я, — сказал председатель.

— Здоров, председатель! — гаркнул новоприбывший, протягивая лопатообразную ладонь. — Будем знакомы! Сын лейтенанта Шмидта.

— Кто? — спросил глава города, тараша глаза.

— Сын великого, незабвенного героя лейтенанта Шмидта! — повторил пришелец.

— А вот же товарищ сидит — сын товарища Шмидта. Николай Шмидт. И председатель в полном расстройстве указал на первого посетителя, лицо которого внезапно приобрело сонное выражение.

В жизни двух жуликов наступило шекотливое мгновение. В руках скромного и доверчивого председателя исполкома в любой момент мог блеснуть длинный, неприятный меч Немезиды. Судьба давала только одну секунду времени для создания спасительной комбинации. В глазах второго сына лейтенанта Шмидта отразился ужас.

Его фигура в летней рубашке «Парагвай», штанах с матросским клапаном и голубоватых парусиновых туфлях, еще минуту назад резкая и угловатая, стала расплываться, потеряла свои грозные контуры и уже решительно не впускала никакого уважения. На лице председателя появилась скверная улыбка.

И вот, когда второму сыну лейтенанта уже казалось, что все потеряно и что ужасный председательский гнев свалится сейчас на его рыжую голову, с розового пуфика пришло спасение.

— Вася! — кричал первый сын лейтенанта Шмидта, вскакивая. — Родной братик! Узнаешь брата Колю?

И первый сын заключил второго сына в объятия.

— Узнаю! — воскликнул прозревший Вася. — Узнаю брата Колю!

Счастливая встреча ознаменовалась такими сумбурными ласками и столь необыкновенными по силе объятиями, что второй сын черноморского революционера вышел из них с побледневшим от боли лицом. Брат Коля на радостях помял его довольно сильно.

Обнимаясь, оба брата искоса поглядывали на председателя, с лица которого не сходило уксусное выражение. Ввиду этого спасительную комбинацию тут же на месте пришлось развить, пополнить бытовыми деталями и новыми, ускользнувшими от Истпарта, подробностями восстания моряков в 1905 году. Держась за руки, братья опустили на козетку и, не спуская ласливых глаз с председателя, погрузились в воспоминания.

— До чего удивительная встреча! — фальшиво воскликнул первый сын, взглядом приглашая председателя примкнуть к семейному торжеству.

— Да, — сказал председатель замороженным голосом. — Бывает, бывает.

Увидев, что председатель все еще находится в лапах сомнения, первый сын погладил брата по рыжим, как у сеттера, кудрям и ласково спросил:

— Когда же ты приехал из Мариуполя, где ты жил у нашей бабушки?

— Да, я жил, — пробормотал второй сын лейтенанта, — у нее.

— Что ж ты мне так редко писал? Я очень беспокоился.

— Занят был, — угрюмо ответил рыжеволосый.

И, опасаясь, что неугомонный брат сейчас же заинтересуется, чем он был занят (а занят он был преимущественно тем, что сидел в исправительных домах различных автономных республик и областей), — второй сын лейтенанта Шмидта вырвал инициативу и сам задал вопрос.

— А ты почему не писал?

— Я писал, — неожиданно ответил братец, чувствуя необыкновенный прилив веселости, — заказные письма посылал. У меня даже почтовые квитанции есть.

И он полез в боковой карман, откуда действительно вынул множество лежалых бумажек, но показал их почему-то не брату, а председателю исполкома, да и то издали.

Как ни странно, но вид бумажек немного успокоил председателя, и воспоминания братьев стали живее. Рыжеволосый вполне освоился с обстановкой и довольно толково, хотя и монотонно, рассказал содержание массовой брошюры «Мятеж на «Очакове». Брат украшал его сухое изложение деталями настолько живописными, что председатель, начинавший было уже успокаиваться, снова навострил уши.



Однако он отпустил братьев с миром, и они выбежали на улицу, чувствуя большое облегчение.

За углом исполкомовского дома они остановились.

— Кстати, о детстве, — сказал первый сын, — в детстве таких, как вы, я убивал на месте. Из рогатки.

— Почему? — радостно спросил второй сын знаменитого отца.

— Таковы суровые законы жизни. Или, короче выражаясь, — жизнь диктует нам свои суровые законы. Вы зачем полезли в кабинет? Разве вы не видели, что председатель не один?

— Я думал...

— Ах, вы думали? Вы, значит, иногда думаете? Вы — мыслитель? Как ваша фамилия, мыслитель? Спиноза? Жан-Жак Руссо? Марк Аврелий?

Рыжеволосый молчал, подавленный справедливым обвинением.

— Ну, я вас прощаю. Живите. А теперь давайте познакомимся. Как-никак — мы братья, а родство обязывает. Меня зовут Остап Бендер. Разрешите также узнать вашу первую фамилию.

— Балаганов, — представился рыжеволосый, — Шура Балаганов.

— О профессии не спрашиваю, — учтиво сказал Бендер, — но догадываюсь. Вероятно, что-нибудь интеллектуальное? Судимостей за этот год много?

— Две, — свободно ответил Балаганов.

— Вот это нехорошо. Почему вы продаете свою бессмертную душу? Человек не должен судиться. Это пошлое занятие. Я имею в виду кражи. Не говоря уже о том, что воровать грешно, — мама, наверно, познакомила вас в детстве с такой доктриной, — это к тому же бесцельная трата сил и энергии.

Остап долго еще развивал бы свои взгляды на жизнь, если бы его не перебил Балаганов.

— Смотрите, — сказал он, указывая на зеленые глубины Бульвара Молодых Дарованый. — Видите, вон идет человек в соломенной шляпе.

— Вижу, — высокомерно сказал Остап. — Ну и что же? Это губернатор острова Борнео?

— Это Паниковский, — сказал Шура. — Сын лейтенанта Шмидта.

По аллее, в тени августейших лип, склоняясь немного набок, двигался немолодой уже гражданин. Твердая соломенная шляпа с рубчатыми краями боком сидела на его голове. Брюки были настолько коротки, что обнажали белые завязки кальсон. Под усами гражданина, подобно огоньку папиросы, пылал золотой зуб.

— Как, еще один сын? — сказал Остап. — Это становится забавным.

Паниковский подошел к зданию исполкома, задумчиво описал у входа восьмерку, взялся за поля шляпы обеими руками и правильно установил ее на голове, обернул пиджак и, тяжело вздохнув, двинулся внутрь.

— У лейтенанта было три сына, — заметил Бендер, — два умных, а третий — дурак. Его нужно предостеречь.

— Не надо, — сказал Балаганов, — пусть знает в другой раз, как нарушать конвенцию.

— Что это за конвенция такая?

— Подождите, потом скажу. Вошел, вошел!..

— Я человек завистливый, — сознался Бендер, — но тут завидовать нечему. Вы никогда не видели боя быков? Пойдем, посмотрим.

Сдружившиеся дети лейтенанта Шмидта вышли из-за угла и подступили к окну председательского кабинета.

За туманным, невытым стеклом сидел председатель. Он быстро писал. Как у всех пишущих, лицо у него было скорбное. Вдруг он поднял голову. Дверь распахнулась, и в комнату проник Паниковский. Прижимая шляпу к салюному пиджаку, он остановился около стола и долго шевелил толстыми губами. После этого председатель подскочил на стуле и широко раскрыл рот. Друзья услышали протяжный крик.

Со словами «все назад» Остап увлек за собою Балаганова. Они побежали на бульвар и спрятались за деревом.

— Снимите шляпы, — сказал Остап, — обнажите головы. Сейчас состоится вынос тела.

Он не ошибся. Не успели еще замолкнуть раскаты и переливы председательского голоса, как в портале исполкома показались два дюжих сотрудника. Они несли Паниковского. Один держал его за руки, а другой за ноги.

— Прах покойного, — комментировал Остап, — был вынесен на руках близкими и друзьями.

Сотрудники вытащили третье глупое дитя лейтенанта Шмидта на крыльцо и принялись неторопливо раскачивать. Паниковский молчал, покорно глядя в синее небо.

— После непродолжительной гражданской панихиды... — начал Остап.

В ту же самую минуту сотрудники, придав телу Паниковского достаточный размах и инерцию, выбросили его на улицу.

— ...тело было предано земле, — закончил Бендер.

Паниковский шлепнулся на землю, как жаба. Он быстро поднялся и, крясь набок сильнее прежнего, побежал по Бульвару Молодых Дарований с невероятной быстротой.

— Ну, теперь расскажите, — промолвил Остап, — каким образом этот гад нарушил конвенцию и какая это была конвенция.

## Глава II

### ТРИДЦАТЬ СЫНОВЕЙ ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА

Хлопотливо проведенное утро окончилось. Бендер и Балаганов, не стовариваясь, быстро пошли в сторону от исполкома. По главной улице на раздвинутых крестьянских ходах везли длинную синюю рельсу. Такой звон и пенье стояли на главной улице, будто возчик в рыбацкой брезентовой прозодежде вез не рельсу, а оглушительную музыкальную ноту. Солнце ломилось в стеклянную витрину магазина наглядных пособий, где над глобусами, черепами и картонной, весело раскрашенной печенью пьяницы дружески обнимались два скелета. В бедном окне мастерской штемпелей и печатей наибольшее место занимали эмалированные дощечки с надписями: «Закрото на обед», «Обеденный перерыв от 2 до 3 ч. дня», «Закрото на обеденный перерыв», просто «Закрото», «Магазин закрыт» и, наконец, черная фундаментальная доска с золотыми буквами: «Закрото для переучета товаров». По-видимому, эти решительные тексты пользовались в городе Арбатове наибольшим спросом. На все прочие явления жизни мастерская штемпелей и печатей отозвалась только одной сухой табличкой: «Дежурная няня».

Затем, один за другим, расположились подряд три магазина духовых инструментов, мандолин и басовых балалаек. Медные трубы, развратно сверкая, возлежали на витринных ступеньках, обтянутых красным коленкором. Особенно хорош был бас-геликон. Он был так могуч, так лениво грелся на солнце, свернувшись в кольцо, что его следовало бы содержать не в витрине, а в столичном зоопарке, где-нибудь между слоном и удавом. И чтобы в дни отдыха родители водили бы к нему детей и говорили: «Вот, деточка, павильон геликона. Геликон сейчас спит. А когда проснется, то обязательно станет трубить». И чтобы дети смотрели на удивительную трубу большими чудными глазами.

В другое время Остап Бендер обратил бы внимание и на свежесрубленные, величиной с избу, балалайки, и на свернувшись от солнечного жара граммофонные пластинки, и на пионерские барабаны, которые своей молодецкой раскраской наводили на мысль о том, что пуля дура, а штык молодец; но сейчас ему было не до того. Он хотел есть.

— Вы, конечно, стоите на краю финансовой пропасти? — спросил он Балаганова.

— Это вы насчет денег? — сказал Шура. — Денег у меня нет уже целую неделю.

— В таком случае вы плохо кончите, молодой человек, — наставительно сказал Остап. — Финансовая пропасть — самая глубокая из всех пропастей, в нее можно падать всю жизнь. Ну, ладно, не горюйте, я все-таки унес в своем клюве три талона на обед. Председатель исполкома полюбил меня с первого взгляда.

Но молочным братьям не удалось воспользоваться добротой главы города. На дверях столовой «Бывший друг желудка» висел большой замок, покрытый не то ржавчиной, не то гречневой кашей.

— Конечно, — с горечью сказал Остап, — по случаю учета шницелей столовая закрыта навсегда! Придется отдать свое тело на растерзание частникам.

— Частники любят наличные деньги, — возразил Балаганов глухо.

— Ну, ну, не буду вас мучить. Председатель осыпал меня золотым дождем на сумму в восемь рублей. Но имейте в виду, уважаемый Шура, даром я вас питать не намерен. За каждый витамин, который я вам скормлю, я потребую от вас ряд мелких услуг.

Однако частновладельческого сектора в городе не оказалось, и братья пообедили в летнем кооперативном саду «Искра», где особые плакаты извещали граждан о последнем арбатовском нововведении в области народного питания:

ПИВО ОТПУСКАЕТСЯ  
ТОЛЬКО ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА

— Удовлетворимся квасом, — сказал Балаганов.

— Тем более, — добавил Остап, — что местные квасы изготавливаются артелью частников, сочувствующих советской власти. А теперь расскажите, в чем провинился головорез Паниковский. Я люблю рассказы о мелких жульничествах.

Насытившийся Балаганов благодарно взглянул на своего спасителя и начал свой рассказ. Рассказ длился часа два и заключал в себе чрезвычайно интересные сведения.

Во всех областях человеческой деятельности предложение труда и спрос на него регулируются специальными органами. Актер поедет в Омск только тогда, когда точно выяснит, что ему нечего опасаться конкуренции и что на его ампула холодного любовника или «кушать подано» нет других претендентов. Железнодорожников опекают родные им учкпрофсожи, заботливо публикующие в газетах сообщения о том, что безработные багажные раздатчики не могут рассчитывать на получение работы в пределах Сызрано-Вяземской дороги, или о том, что Средне-Азиатская дорога испытывает нужду в четырех барьерных сторожихах. Эксперт-товаровед помешает объявление в газете, и вся страна узнает, что есть на свете эксперт-товаровед с десятилетним стажем, по семейным обстоятельствам меняющий службу в Москве на работу в провинции.

Все регулируется, течет по расчищенным руслам, совершает свой кругооборот в полном соответствии с законом и под его защитой.

И один лишь рынок особой категории жуликов, именующих себя детьми лейтенанта Шмидта, находился в хаотическом состоянии. Анархия раздирала корпорацию детей лейтенанта, и они не могли извлечь из своей профессии тех выгод, которые она несомненно могла принести.

Трудно найти более удобный плацдарм для всякого рода самозванцев, чем наше обширное государство, переполненное или сверх меры подозрительными, или чрезвычайно доверчивыми администраторами, хозяйственниками и общественниками.

По всей стране, вымогая и клянча, передвигаются фальшивые внуки Карла Маркса, несуществующие племянники Фридриха Энгельса, братья Луначарского, кузины Клары Цеткин или, на худой конец, потомки знаменитого анархиста князя Кропоткина.

От Минска до Берингова пролива и от Нахичевани на Араксе до Земли Франца-Иосифа входят в исполкомы, высаживаются на станционные платформы и озабоченно катят на извозчиках родственники великих людей. Они торопятся. Дел у них много.

Одно время предложение родственников все же превысило спрос, и на этом своеобразном рынке наступила депрессия. Чувствовалась необходимость в реформах. Постепенно упорядочили свою деятельность внуки Карла Маркса, кропоткинцы, энгельсовцы и им подобные, за исключением буйной корпорации детей лейтенанта Шмидта, которую, на манер польского сейма, вечно раздирала анархия. Дети подобались какие-то грубые, жадные, строптивые и мешали друг другу собирать в житницы.

Шура Балаганов, который считал себя первенцем лейтенанта, не на шутку обеспокоился создавшейся конъюнктурой. Все чаще и чаще ему приходилось сталкиваться с товарищами по корпорации, совершенно изгадившими плодородные поля Украины и курортные высоты Кавказа, где он привык прибыльно работать.

— И вы убоялись все возрастающих трудностей? — насмешливо спросил Остап.

Но Балаганов не заметил иронии. Попивая лиловый квас, он продолжал свое повествование.

Выход из этого напряженного положения был один — конференция. Над созывом ее Балаганов работал всю зиму. Незнакомым передавал через попадавшихся на пути внуков Маркса. И вот, наконец, ранней весной 1928 года почти все известные дети лейтенанта Шмидта собрались в московском трактире, у Сухаревой башни. Кворум был велик — у лейтенанта Шмидта оказалось тридцать сыновей в возрасте от восемнадцати до пятидесяти двух лет и четыре дочки, глупые, немолодые и некрасивые.

В краткой вступительной речи Балаганов выразил надежду, что братья найдут общий язык и выработают наконец конвенцию, необходимость которой диктует сама жизнь.

По проекту Балаганова весь Союз Республик следовало разбить на тридцать четыре эксплуатационных участка, по числу собравшихся. Каждый участок передается в долгосрочное пользование одного дитяти. Никто из членов корпорации не имеет права переходить границы и вторгаться на чужую территорию с целью заработка.

Против новых принципов работы никто не возражал, если не считать Паниковского, который уже тогда заявил, что проживет и без конвенции. Зато при разделе страны разыгрались безобразные сцены. Высокие договаривающиеся стороны переругались в первую же минуту и уже не обращались друг к другу иначе как с добавлением бранных эпитетов.

Весь спор произошел из-за дележа участков.

Никто не хотел брать университетских центров. Никому не нужны были видавшие виды Москва, Ленинград и Харьков. Все единодушно отказывались от Республики немцев Поволжья.

— А что, разве это такая плохая республика? — невинно спрашивал Балаганов. — Это, кажется, хорошее место. Немцы, как культурные люди, не могут не протянуть руку помощи.

— Знаем, знаем! — кричали разволновавшиеся дети. — У немцев возьми!

Видимо, не один из собравшихся сидел у недоверчивых немцев-колонистов в тюремном плену.

Очень плохой репутацией пользовались также далекие, погруженные в пески восточные области. Их обвиняли в невежестве и незнакомстве с личностью лейтенанта Шмидта.

— Нашли дураков! — визгливо кричал Паниковский. — Вы мне дайте Среднерусскую возвышенность, тогда я подпишу конвенцию.

— Как?! Всю возвышенность? — заявил Балаганов. — А не дать ли тебе еще Мелитополь в придачу? Или Бобруйск?

При слове «Бобруйск» собрание болезненно застонало. Все соглашались ехать в Бобруйск хоть сейчас. Бобруйск считался прекрасным, высококультурным местом.

— Ну, не всю возвышенность, — настаивал жадный Паниковский, — хотя бы половину. Я, наконец, семейный человек, у меня две семьи.

Но ему не дали и половины.

После долгих криков решено было делить участки по жребью. Были нарезаны тридцать четыре бумажки, и на каждую из них нанесено географическое название. Плодородный Курск и сомнительный Херсон, мало разработанный Минусинск и почти безнадежный Ашхабад, Киев, Петрозаводск и Чита — все республики, все области лежали в чьей-то заячьей шапке с наушниками и ждали хозяев.

Веселые возгласы, глухие стоны и грязные ругательства сопровождали жеребьевку.

Злая звезда Паниковского оказала свое влияние на исход дела. Ему досталась бесплодная и мстительная Республика немцев Поволжья. Он присоединился к конвенции вне себя от злости.

— Я поеду! — кричал он. — Но предупреждаю, если немцы плохо ко мне отнесутся, я конвенцию нарушу, я перейду границу.

Балаганов, которому достался золотой арбатовский участок, примыкавший к республике немцев, встревожился и тогда же заявил, что нарушения эксплуатационных норм не потерпит.

Так или иначе, дело было упрямлено, после чего тридцать сыновей и четыре дочери лейтенанта Шмидта выехали в свои районы, на работу.

— И вот вы, Бендер, сами видели, как этот гад нарушил конвенцию, — закончил свое повествование Шура Балаганов. — Он давно ползал по моему участку, только я до сих пор не мог его поймать.

Против ожидания расказчика, дурной поступок Паниковского не вызвал со стороны Остапа осуждения. Бендер развалился на стуле, небрежно глядя перед собой. На высокой задней стене ресторана сада были нарисованы деревья, густолиственные и ровные, как на картинке в хрестоматии. Настоящих деревьев в саду не было, но тень, падающая от стены, давала живительную прохладу и вполне удовлетворяла граждан. Граждане были, по-видимому, поголовно членами союза, потому что пили одно только пиво и даже ничем не закусывали.

К воротам сада, непрерывно ахая и стреляя, подъехал зеленый автомобиль, на дверце которого была выведена белая дугообразная надпись: «Эх, прокачу!» Ниже помещались условия прогулок на веселой машине. В час — три рубля. За конец — по соглашению. Пассажиров в машине не было.

Посетители сада тревожно зашептались. Минут пять шофер просительно смотрел через садовую решетку и, потеряв, видно, надежду заполучить пассажира, вызывающе крикнул:

— Такси свободен! Прошу садиться!

Но никто из граждан не выразил желания сесть в машину «Эх, прокачу!». И даже самое приглашение шофера подействовало на них странным образом. Они понурились и старались не смотреть в сторону машины. Шофер покачал головой и медленно отъехал. Арбатовцы печально смотрели ему вслед. Через пять минут зеленый автомобиль бешено промчался мимо сада в обратном на-

правлении. Шофер подпрыгивал на своем сиденье и что-то неразборчиво кричал. Машина была пуста по-прежнему.

Остап проводил ее взглядом и сказал:

— Так вот, Балаганов, вы пижон. Не обижайтесь. Этим я хочу точно указать то место, которое вы занимаете под солнцем.

— Идите к черту! — грубо сказал Балаганов.

— Вы все-таки обиделись? Значит, по-вашему, должность лейтенантского сына — это не пижонство?

— Но ведь вы же сами сын лейтенанта Шмидта! — вскричал Балаганов.

— Вы пижон, — повторил Остап. — И сын пижона. И дети ваши будут пижонами. Мальчик! То, что произошло сегодня утром, — это даже не эпизод, а так, чистая случайность, каприз художника. Дженгльмен в поисках десятки. Ловить на такие мизерные шансы не в моем характере. И что это за профессия такая, прости господи! Сын лейтенанта Шмидта! Ну, год еще, ну, два. А дальше что? Дальше ваши рыжие кудри примелькаются, и вас просто начнут бить.

— Так что же делать? — забеспокоился Балаганов. — Как снискать хлеб насущный?

— Надо мыслить, — сурово сказал Остап. — Меня, например, кормят идеи. Я не протягиваю лапу за кислым исполкомовским рублем. Моя наметка пошире. Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги. Скажите, какая сумма вам нравится?

— Пять тысяч, — быстро ответил Балаганов.

— В месяц?

— В год.

— Тогда мне с вами не по пути. Мне нужно пятьсот тысяч. И по возможности сразу, а не частями.

— Может, все-таки возьмете частями? — спросил мстительный Балаганов.

Остап внимательно посмотрел на собеседника и совершенно серьезно ответил:

— Я бы взял частями. Но мне нужно сразу.

Балаганов хотел было пошутить и по поводу и этой фразы, но, подняв глаза на Остапа, сразу осекся. Перед ним сидел атлет с точеным, словно выбитым на монете, лицом. Смуглое горло перерезал хрупкий белый шрам. Глаза сверкали грозным весельем.

Балаганов почувствовал вдруг непреодолимое желание вытянуть руки по швам. Ему даже захотелось откашляться, как это бывает с людьми средней ответственности при разговоре с кем-либо из вышестоящих товарищей. И действительно, откашлявшись, он смущенно спросил:

— Зачем же вам так много денег... и сразу?

— Вообще-то мне нужно больше, — сказал Остап, — пятьсот тысяч — это мой минимум, пятьсот тысяч полновесных ориентировочных рублей. Я хочу уехать, товарищ Шура, уехать очень далеко, в Рио-де-Жанейро.

— У вас там родственники? — спросил Балаганов.

— А что, разве я похож на человека, у которого могут быть родственники?

— Нет, но мне...

— У меня нет родственников, товарищ Шура, — я один на всем свете. Был у меня папа, турецкий подданный, да и тот давно скончался в страшных судорогах. Не в этом дело. Я с детства хочу в Рио-де-Жанейро. Вы, конечно, не знаете о существовании этого города.

Балаганов скорбно покачал головой. Из мировых очагов культуры он, кроме Москвы, знал только Киев, Мелитополь и Жмеринку. И вообще он был убежден, что земля плоская.

Остап бросил на стол лист, вырванный из книги.

— Это вырезка из «Малой советской энциклопедии». Вот что тут написано про Рио-де-Жанейро: «1360 тысяч жителей...» так... «значительное число



мулатов... у обширной бухты Атлантического океана...» Вот, вот!.. «Главные улицы города по богатству магазинов и великолепию зданий не уступают первым городам мира». Представляете себе, Шура? Не уступают! Мулаты, бухта, экспорт кофе, так сказать, кофейный демпинг, чарльстон «У моей девочки есть одна маленькая штучка» и... о чем говорить! Вы сами видите, что происходит! Полтора миллиона человек, и все поголовно в белых штанах! Я хочу отсюда уехать. У меня с советской властью возникли за последний год серьезные разногласия. Она хочет строить социализм, а я не хочу. Мне скучно строить социализм. Теперь вам ясно, для чего мне нужно столько денег?

— Где же вы возьмете пятьсот тысяч? — тихо спросил Балаганов.

— Где угодно, — ответил Остап. — Покажите мне только богатого человека, и я отниму у него деньги.

— Как? Убийство? — еще тише спросил Балаганов и бросил взгляд на соседние столики, где арбатовцы поднимали заздравные фужеры.

— Знаете, — сказал Остап, — вам не надо было подписывать так называемой Сухаревской конвенции. Это умственное упражнение, как видно, сильно вас истощило. Вы глупеете прямо на глазах. Заметьте себе, Остап Бендер никогда никого не убивал. Его убивали, это было. Но сам он чист перед законом. Я, конечно, не херувим. У меня нет крыльев, но я чту уголовный кодекс. Это моя слабость.

— Как же вы думаете отнять деньги?

— Как я думаю отнять? Отъем или увод денег варьируется в зависимости от обстоятельств. У меня лично есть четыреста сравнительно честных способов отъема. Но не в способах дело. Дело в том, что сейчас нет богатых людей. И в этом ужас моего положения. Иной набросился бы, конечно, на какое-нибудь беззащитное госучреждение, но это не в моих правилах. Вам известно мое уважение к уголовному кодексу. Нет расчета грабить коллектив. Дайте мне индивида побогаче. Но его нет, этого индивидуума.

— Да что вы! — воскликнул Балаганов. — Есть очень богатые люди.

— А вы их знаете? — немедленно сказал Остап. — Можете вы назвать фамилию и точный адрес хотя бы одного советского миллионера? А ведь они есть, они должны быть. Раз в стране бродят какие-то денежные знаки, то должны быть люди, у которых их много. Но как найти такого ловчицу?

Остап даже вздохнул. Видимо, грезы о богатом индивидууме давно волновали его.

— Как приятно, — сказал он раздумчиво, — работать с легальным миллионером в хорошо организованном буржуазном государстве со старинными капиталистическими традициями. Там миллионер — популярная фигура. Адрес его известен. Он живет в особняке, где-нибудь в Рио-де-Жанейро. Идешь прямо к нему на прием и уже в передней после первых же приветствий отнимаешь деньги. И все это, имейте в виду, по-хорошему, вежливо: «Алло, сэр, не волнуйтесь! Придется вас маленько побеспокоить. Ол-райт. Готово». И все. Культура! Что может быть проще? Джентльмен в обществе джентльменов делает свой маленький бизнес. Только не надо стрелять в люстру, это лишнее! А у нас... боже, боже! в какой холодной стране мы живем. У нас все скрыто, все в подполье. Советского миллионера не может найти даже Наркомфин с его сверхмощным налоговым аппаратом. А миллионер, может быть, сидит сейчас в этом так называемом летнем саду, за соседним столиком, и пьет сорокакопеечное пиво «Тип-Топ». Вот что обидно!

— Значит, вы думаете, — спросил Балаганов, погодя, — что если бы нашелся такой вот тайный миллионер, то?..

— Не продолжайте. Я знаю, что вы хотите сказать. Нет, не то, совсем не то. Я не буду душить его подушкой или бить вороненым наганом по голове. И вообще ничего дурацкого не будет. Ах, если бы только найти индивида! Уж я так устрою, что он свои деньги мне сам принесет, на блюдечке с голубой каемкой.

— Это очень хорошо! — Балаганов доверчиво усмехнулся. — Пятьсот тысяч на блюдечке с голубой каемкой!

Он поднялся и стал кружиться вокруг столика. Он жалобно причмокивал языком, останавливался, раскрывал даже рот, как бы желая что-то произнести, но, ничего не сказав, садился и снова вставал. Остап равнодушно следил за эволюциями Балаганова.

— Сам принесет? — спросил вдруг Балаганов скрипучим голосом. — На блюдечке? А если не принесет? А где это Рио-де-Жанейро? Далеко? Не может того быть, чтобы все ходили в белых штанах. Вы это бросьте, Бендер. На пятьсот тысяч можно и у нас хорошо прожить.

— Бесспорно, бесспорно, — весело сказал Остап, — прожить можно. Но вы не трещите крыльями без повода. У вас же пятисот тысяч нет.

На безмятежном, невспаханном лбу Балаганова обозначилась глубокая морщина. Он неуверенно посмотрел на Остапа и промолвил:

— Я знаю такого миллионера. Может выйти дело.

Слица Бендера мигом сошло все оживление. Лицо его сразу же затвердело и снова приняло медальные очертания.

— Идите, идите, — сказал он, — я подаю только по субботам, нечего тут заливать.

— Честное слово, мосье Бендер!..

— Слушайте, Шура, если уж вы окончательно перешли на французский язык, то называйте меня не месье, а ситуайен, что значит — гражданин. Кстати, адрес вашего миллионера?

— Он живет в Черноморске.

— Ну, конечно, так и знал! Черноморск! Там даже в довоенное время человек с десятью тысячами назывался миллионером. А теперь... могу себе представить! Нет, это чепуха!

— Да нет же, дайте мне сказать. Это настоящий миллионер. Понимаете, Бендер, случилось мне сидеть в тамошнем допре...

Через десять минут молочные братья покинули летний кооперативный сад с подачей пива. Великий комбинатор чувствовал себя в положении хирурга, которому предстоит произвести весьма серьезную операцию. Все готово. В электрических кастрюльках парятся салфеточки и бинты, сестра милосердия в белой тоге неслышно передвигается по кафельному полу, блестят медицинский фаянс и никель, больной лежит на стеклянном столе, томно закатив глаза к потолку, в специально нагретом воздухе носится запах немецкой жевательной резинки. Хирург с растопыренными руками подходит к операционному столу, принимает от ассистента стерилизованный финский нож и сухо говорит больному: «Ну-с, снимайте бурнус!»

— У меня всегда так, — сказал Бендер, блестя глазами, — миллионное дело приходится начинать при ошутительной нехватке денежных знаков. Весь мой капитал, основной, оборотный и запасный, исчисляется пятью рублями... Как, вы сказали, фамилия подпольного миллионера?

— Корейко, — ответил Балаганов.

— Да, да, Корейко. Прекрасная фамилия. И вы утверждаете, что никто не знает о его миллионах?

— Никто, кроме меня и Пружанского. Но Пружанский, ведь я вам уже говорил, будет сидеть в тюрьме еще года три. Если б вы только видели, как он убивался и плакал, когда я выходил на волю. Он, видимо, чувствовал, что мне не надо было рассказывать про Корейко.

— То, что он открыл свою тайну вам, — это чепуха. Не из-за этого он убивался и плакал. Он, вероятно, предчувствовал, что вы расскажете всю эту историю мне. А это действительно бедному Пружанскому прямой убыток. К



тому времени, когда Пружанский выйдет из тюрьмы, Корейко будет находить утешение только в пошлой посылке: «Бедность не порок».

Остап скинул свою летнюю фуражку и, помахав ею в воздухе, спросил:

— Есть у меня седые волосы?

Балаганов подобрал живот, раздвинул носки на ширину ружейного приклада и голосом правофлангового ответил:

— Никак нет.

— Значит, будут. Нам предстоят великие бои. Вы тоже поседете, Балаганов.

Балаганов вдруг глуповато хихикнул.

— Как вы говорите? Сам принесет деньги на блюдечке с голубой каемкой?

— Мне на блюдечке, — сказал Остап, — а вам на тарелочке.

— А как же Рио-де-Жанейро? Я тоже хочу в белых штанах.

— Рио-де-Жанейро — это хрустальная мечта моего детства, — строго ответил великий комбинатор, — не касайтесь ее своими лапами. Ближе к делу. Выслать линейных в мое распоряжение. Частям прибыть в город Черноморск в наикратчайший срок. Форма одежды караульная. Ну, трубите марш! Командовать парадом буду я!

### Глава III

## БЕНЗИН ВАШ — ИДЕИ НАШИ

За год до того как Паниковский нарушил конвенцию, проникнув в чужой эксплуатационный участок, в городе Арбатове появился первый автомобиль. Основоположником автомобильного дела был шофер по фамилии Козлевич.

К рулевому колесу его привело решение начать новую жизнь. Старая жизнь Адама Козлевича была греховна. Он беспрестанно нарушал Уголовный кодекс РСФСР, а именно статью 162-ю, трактующую вопросы тайного похищения чужого имущества (кража).

Статья эта имеет много пунктов, но грешному Адаму был чужд пункт «а» (кража, совершенная без применения каких-либо технических средств). Это было для него слишком примитивно. Пункт «д», карающий лишением свободы на срок до пяти лет, ему тоже не подходил. Он не любил долго сидеть в тюрьме. И так как с детства его влекло к технике, то он всею душою отдался пункту «в» (тайное похищение чужого имущества, совершенное с применением технических средств или неоднократно, или по предварительному сговору с другими лицами, на вокзалах, пристанях, пароходах, вагонах и в гостиницах).

Но Козлевичу не везло. Его ловили и тогда, когда он применял излюбленные им технические средства, и тогда, когда он обходился без них; его ловили на вокзалах, пристанях, на пароходах и в гостиницах. В вагонах его тоже ловили. Его ловили даже тогда, когда он в полном отчаянии начинал хватать чужую собственность по предварительному сговору с другими лицами.

Просидев в общей сложности года три, Адам Козлевич пришел к той мысли, что гораздо удобнее заниматься честным накоплением своей собственностью, чем тайным похищением чужой. Эта мысль внесла успокоение в его мятежную душу. Он стал примерным заключенным, писал разоблачительные стихи в тюремной газете «Солнце всходит и заходит» и усердно работал в механической мастерской исправдома. Пенитенциарная система оказала на него благотворное влияние. Козлевич Адам Казимирович, сорока шести лет, происходивший из крестьян б. Ченстоховского уезда, холостой, неоднократно судившийся, вышел из тюрьмы честным человеком.

После двух лет работы в одном из московских гаражей он купил по случаю такой старый автомобиль, что появление его на рынке можно было объяснить только ликвидацией автомобильного музея. Редкий экспонат был продан Козлевичу за сто девяносто рублей. Автомобиль почему-то продавался вместе

с искусственной пальмой в зеленой кадке. Пришлось купить и пальму. Пальма была еще куда-сюда, но с машиной пришлось долго возиться: выскрывать на базарах недостающие части, латать сиденье, заново ставить электрохозяйство. Ремонт был увенчан окраской машины в ящеричный зеленый цвет. Породы машины была неизвестна, но Адам Казимирович утверждал, что это «лорен-дитрих». В виде доказательства он приколол к радиатору автомобиля медную бляшку с лорен-дитрихской фабричной маркой. Оставалось приступить к частному прокату, о котором Козлевич давно мечтал.

В тот день, когда Адам Казимирович собрался впервые вывезти свое детище в свет, на автомобильную биржу, произошло печальное для всех частных шоферов событие. В Москву прибыли сто двадцать маленьких черных, похожих на браунинги таксомоторов «рено». Козлевич даже и не пытался с ними конкурировать. Пальму он сдал на хранение в извозчичью чайную «Версаль» и выехал на работу в провинцию.

Арбатов, лишенный автомобильного транспорта, понравился шоферу, и он решил остаться в нем навсегда.

Адаму Казимировичу представилось, как трудолюбиво, весело и, главное, честно он будет работать на ниве автопроката. Представлялось ему, как ранним арктическим утром дежурит он у вокзала в ожидании московского поезда. Завернувшись в рыжую коровью доху и подняв на лоб авиаторские консервы, он дружелюбно угощает носильщиков папиросами. Где-то сзади жмутся обмерзшие извозчики. Они плачут от холода и трясут толстыми синими юбками. Но вот слышится тревожный звон станционного колокола. Это — повестка. Пришел поезд. Пассажиры выходят на вокзальную площадь и с довольными гримасами останавливаются перед машиной. Они не ждали, что в арбатовское захолустье уже проникла идея автопроката. Трубя в рожок, Козлевич мчит пассажиров в Дом крестьянина.

Работа есть на весь день, все рады воспользоваться услугами механического экипажа. Козлевич и его верный «лорен-дитрих» — неперемные участники всех городских свадеб, экскурсий и торжеств. Но больше всего работы летом. По воскресеньям на машине Козлевича выезжают за город целые семьи. Раздается бессмысленный смех детей, ветер дергает шарфы и ленты, женщины весело лопочут, отцы семейств с уважением смотрят на кожаную спину шофера и расспрашивают его о том, как обстоит автомобильное дело в Северо-Американских Соединенных Штатах (верно ли, в частности, то, что Форд ежедневно покупает себе новый автомобиль).

Так рисовалась Козлевичу его новая чудная жизнь в Арбатове. Но действительность в кратчайший срок развалила построенный воображением Адама Казимировича воздушный замок со всеми его башенками, подъемными мостами, флагами и штандартами.

Сначала подвел железнодорожный график. Скорые и курьерские поезда проходили станцию Арбатов без остановки, с ходу принимая жезлы и сбрасывая почту. Смешанные поезда приходили только дважды в неделю. Они привозили народ все больше мелкий: ходоков и башмачников с котомками, колodками и прошениями. Как правило, смешанные пассажиры машиной не пользовались. Экскурсий и торжеств не было, а на свадьбы Козлевича не приглашали. В Арбатове под свадебные процессии привыкли нанимать извозчиков, которые в таких случаях вплетали в лошадиные гривы бумажные розы и хризантемы, что очень нравилось посаженным отцам.

Однако загородных прогулок было множество. Но они были совсем не такими, о каких мечтал Адам Казимирович. Не было ни детей, ни трепещущих шарфов, ни веселого лепета.

В первый же вечер, озаренный неяркими керосиновыми фонарями, к Адаму Казимировичу, который весь день бесплодно простоял на Спасо-Ко-

оперативной площади, подошли четверо мужчин. Долго и молчаливо они вглядывались в автомобиль. Потом один из них, горбун, неуверенно спросил:

— Всем можно кататься?

— Всем, — ответил Козлевич, удивляясь робости арбатовских граждан. — Пять рублей в час.

Мужчины зашептались. До шофера донеслись странные вздохи и слова: «Прокатимся, товарищи, после заседания? А удобно ли? По рублю двадцати пяти на человека не дорого. Чего ж неудобного?..»

И впервые поместительная машина приняла в свое коленкоровое лоно арбатовцев. Несколько минут пассажиры молчали, подавленные быстротой передвижения, горячим запахом бензина и свистками ветра. Потом, томимые неясным предчувствием, тихонько затянули: «Быстры, как волны, дни нашей жизни». Козлевич взял третью скорость. Промелькнули мрачные очертания законсервированной продуктовой палатки, и машина выскочила в поле на лунный тракт.

«Что день, то короча к могиле наш путь», — томно выводили пассажиры. Им стало жалко самих себя, стало обидно, что они никогда не были студентами. Припев они исполнили громкими голосами: «По рюмочке, по маленькой, тирлим-бом-бом, тирлим-бом-бом».

— Стой! — закричал вдруг горбун. — Давай назад! Душа горит!

В городе сядки захватили много белых кегельных бутылочек и какую-то широкоплечую гражданку. В поле разбились бивак, ужинали с водкой, а потом без музыки танцевали польку-кокетку.

Истомленный ночным приключением, Козлевич весь день продремал у руля на своей стоянке. А к вечеру явилась вчерашняя компания, уже навеселе, снова уселась в машину и всю ночь носилась вокруг города. На третий день повторилось то же самое. Ночные пиры веселой компании под предводительством горбуна продолжались две недели кряду. Радости автомобилизации оказали на клиентов Адама Казимировича странное влияние: лица у них опухли и белели в темноте, как подушки. Горбун с куском колбасы, свисавшим изо рта, походил на вурдалака.

Они стали суетливыми и в разгаре веселья иногда плакали. Один раз бедовый горбун подвез на извозчике к автомобилю мешок рису. На рассвете рис повезли в деревню, обменяли там на самогон-первач и в этот день в город уже не возвращались. Пили с мужиками на брудершафт, сидя на скирдах. А ночью зажгли костры и плакали особенно жалобно.

В последовавшее затем серенькое утро железнодорожный кооператив «Линеец», в котором горбун был заведующим, а его веселые товарищи членами правления и лавочной комиссии, закрылся для переучета товаров. Каково же было горькое удивление ревизоров, когда они не обнаружили в магазине ни муки, ни перца, ни мыла хозяйственного, ни корыт крестьянских, ни текстиля, ни рису. Полки, прилавки, ящики и кадушки — все было оголено. Только посреди магазина на полу стояли вытянувшиеся к потолку гигантские охотничьи сапоги, сорок девятый номер, на желтой картонной подошве, и смутно мерцала в стеклянной будке автоматическая касса «Националь», никелированный дамский бюст которой был усеян разноцветными кнопками. А к Козлевичу на квартиру прислали повестку от народного следователя; шофер вызывался свидетелем по делу кооператива «Линеец».

Горбун и его друзья больше не являлись, и зеленая машина три дня простояла без дела.

Новые пассажиры, подобно первым, являлись под покровом темноты. Они тоже начинали с невинной прогулки за город, но мысль о водке возникала у них, едва только машина делала первые полкилометра. По-видимому, арбатовцы не представляли себе, как это можно пользоваться автомобилем в трезвом виде, и считали автотелегу Козлевича гнездом разврата, где обяза-

льно нужно вести себя разухабисто, издавать непотребные крики и вообще прожигать жизнь.

Только тут Козлевич понял, почему мужчины, проходившие днем мимо его стоянки, подмигивали друг другу и нехорошо улыбались.

Все шло совсем не так, как предполагал Адам Казимирович. По ночам он носился с зажженными фарами мимо окрестных роц, слыша позади себя пьяную возню и вопли пассажиров, а днем, одурев от бессонницы, сидел у следователей и давал свидетельские показания. Арбатовцы прожигали свои жизни почему-то на деньги, принадлежавшие государству, обществу и кооперации. И Козлевич против своей воли снова погрузился в пучину уголовного кодекса, в мир главы третьей, назидательно говорящей о должностных преступлениях.

Начались судебные процессы. И в каждом из них главным свидетелем обвинения выступал Адам Казимирович. Его правдивые рассказы сбивали подсудимых с ног, и они, задыхаясь в слезах и соплях, признавались во всем. Он погубил множество учреждений. Последней его жертвой пало филиальное отделение областной киноорганизации, снимавшее в Арбатове исторический фильм «Стенька Разин и княжна». Весь филиал упрятали на шесть лет, а фильм, представлявший узкосудебный интерес, был передан в музей вещественных доказательств, где уже находились охотничьи ботфорты из кооператива «Линеец».

После этого наступил крах. Зеленого автомобиля стали бояться, как чумы. Граждане далеко обходили Спасо-Кооперативную площадь, на которой Козлевич водрузил полосатый столб с табличкой «Биржа автомобилей». В течение нескольких месяцев Адам не заработал ни копейки и жил на сбережения, сделанные им во время ночных поездок.

Тогда он пошел на жертвы. На дверце автомобиля он вывел белую и, на его взгляд, весьма заманчивую надпись «Эх, прокачу!» и снизил цену с пяти рублей в час до трех. Но граждане и тут не переменили тактики. Шофер медленно колесил по городу, подъезжал к учреждениям и кричал в окна:

— Воздух-то какой! Прокатимся, что ли?

Должностные лица высовывались на улицу и, под грохот ундревудов, отвечали:

— Сам катайся. Душегуб!

— Почему же душегуб? — чуть не плача, спрашивал Козлевич.

— Душегуб и есть, — отвечали служащие, — под выездную сессию подведешь!

— А вы бы на свои катались! — запальчиво кричал шофер. — На собственные деньги!

При этих словах должностные лица юмористически переглядывались и запирали окна. Катанье в машине на свои деньги казалось им просто глупым.

Владелец «Эх, прокачу!» рассорился со всем городом. Он уже ни с кем не раскланивался, стал нервным и злым. Завидя какого-нибудь совслужа в длинной кавказской рубашке с баллонными рукавами, он подъезжал к нему сзади и с горьким смехом кричал:

— Мошенники! А вот я вас сейчас под показательный подведу! Под сто девятую статью!

Совслуж вздрагивал, индифферентно оправлял на себе пояс с серебряным набором, каким обычно украшают сбрую ломовых лошадей, и, делая вид, что крики относятся не к нему, ускорял шаг. Но мстительный Козлевич продолжал ехать рядом и дразнить врага монотонным чтением карманного уголовного требника:

— «Присвоение должностным лицом денег, ценностей или иного имущества, находящегося в его ведении в силу его служебного положения, карается...»

Совслуж трусливо убежал, высоко подкидывая зад, сплюснутый от долгого сидения на конторском табурете.

— «Лишением свободы, — кричал Козлевич вдогонку, — на срок до трех лет».

Но все это если и приносило удовлетворение шоферу, то только моральное. Материальные дела его были нехороши. Сбережения подходили к концу. Надо было принять какое-то решение. Дальше так продолжаться не могло.

В таком воспаленном состоянии Адам Казимирович сидел однажды в своей машине, с отвращением глядя на глупый полосатый столбик «Биржа автомобилей». Он смутно понимал, что честная жизнь не удалась, что автомобильный мессия прибыл раньше срока и граждане не поверили в него. Козлевич был так погружен в свои печальные размышления, что даже не заметил двух молодых людей, уже довольно долго любовавшихся его машиной.

— Оригинальная конструкция, — сказал наконец один из них, — заря автомобилем. Видите, Балаганов, что можно сделать из простой швейной машинки Зингера? Небольшое приспособление — и получилась прелестная колхозная сноповязалка.

— Отойди! — угрюмо сказал Козлевич.

— То есть как это «отойди»? Зачем же вы поставили на своей молотилке рекламное клеймо «Эх, прокачу!»? Может быть, мы с приятелем желаем совершить деловую поездку? Может быть, мы желаем именно эх-прокатиться?

В первый раз за арбатовский период жизни на лице мученика автомобильного дела появилась улыбка. Он выскочил из машины и проворно завел тяжело застучавший мотор.

— Пожалуйста, — сказал он, — куда везти?

— На этот раз — никуда, — заметил Балаганов, — денег нету! Ничего не поделаешь, товарищ механик, бедность.

— Все равно, садись! — закричал Козлевич отчаянно. — Повезу даром! Пить не будете? Голые танцевать не будете при луне? Эх! Прокачу!

— Ну, что ж, воспользуемся гостеприимством, — сказал Остап, усевшись рядом с шофером. — У вас, я вижу, хороший характер. Но почему вы думаете, что мы способны танцевать в голом виде?

— Тут все такие, — ответил шофер, выводя машину на главную улицу, — государственные преступники!

Его томило желание поделиться с кем-нибудь своим горем. Лучше всего, конечно, было бы рассказать про свои страдания нежной морщинистой маме. Она бы пожалела. Но мадам Козлевич давно уже скончалась от горя, когда узнала, что сын ее Адам начинает приобретать известность как вор-рецидивист. И шофер рассказал новым пассажирам всю историю падения города Арбата, под развалинами которого барахтается сейчас его зеленый автомобиль.

— Куда теперь ехать? — с тоской закончил Козлевич. — Куда податься?

Остап помедлил, значительно посмотрел на своего рыжего компаньона и сказал:

— Все ваши беды происходят оттого, что вы правдоискатель. Вы просто ягненок, неудавшийся баптист. Печально наблюдать в среде шоферов такие упадочнические настроения. У вас есть автомобиль — и вы не знаете, куда ехать! У нас дела похуже — у нас автомобиля нет. И все-таки мы знаем, куда ехать. Хотите, поедем вместе?

— Куда? — спросил шофер.

— В Черноморск, — сказал Остап. — У нас там небольшое интимное дело. И вам работа найдется. В Черноморске ценят предметы старины и охотно на них катаются. Поедем?

Сперва Адам Казимирович только улыбался, словно вдова, которой ничего уже в жизни не мило. Но Бендер не жалел красок. Он развернул перед смущенным шофером удивительные дали и тут же раскрасил их в голубой и розовый цвета.

— А в Арбатове вам терять нечего, кроме запасных цепей, — убеждал он. — По дороге голодать не будете. Это я беру на себя. Бензин ваш — идеи наши! Козлевич остановил машину и, все еще упираясь, хмуро сказал:

— Бензину мало.

— На пятьдесят километров хватит?

— Хватит на восемьдесят.

— В таком случае все в порядке. Я вам уже сообщил, что в идеях и мыслях у меня недостатка нет. Ровно через шестьдесят километров вас прямо на дороге будет поджидать большая железная бочка с авиационным бензином. Вам нравится авиационный бензин?

— Нравится, — застенчиво ответил Козлевич.

Жизнь вдруг показалась ему легкой и веселой. Ему захотелось ехать в Черноморск немедленно.

— И эту бочку, — закончил Остап, — вы получите совершенно бесплатно. Скажу более. Вас будут просить, чтобы вы приняли этот бензин.

— Какой бензин? — шепнул Балаганов. — Что вы плетете?

Остап важно посмотрел на оранжевые веснушки, рассеянные по лицу молочного брата, и так же тихо ответил:

— Людей, которые не читают газет, надо морально убивать на месте. Они никому не нужны. Вам я оставляю жизнь только потому, что надеюсь вас перевоспитать.

Остап не разъяснил, какая связь существует между чтением газет и большой бочкой с бензином, которая якобы лежит на дороге.

— Объявляю большой скоростной пробег Арбатов — Черноморск открытым! — торжественно сказал Остап. — Командором пробега назначаю себя. Водителем машины зачисляется... как ваша фамилия? Адам Козлевич. Гражданин Балаганов утверждается бортмехаником с возложением на такового обязанности прислуги за все. Только вот что, Козлевич, надпись «Эх, прокачу!» надо немедленно закрасить. Нам не нужны особые приметы.

Через два часа машина со свежим темно-зеленым пятном на боку медленно вывалилась из гаража и в последний раз покатила по улицам города Арбатова. Надежда светилась в глазах Козлевича. Рядом с ним сидел Балаганов. Он хлопотливо перетирал тряпочкой медные части, ревностно выполняя новые для него обязанности бортмеханика. Командор пробега развалился на рыжем сиденье, с удовлетворением поглядывая на своих новых подчиненных.

— Адам! — закричал он, покрывая скрежет мотора. — Как зовут вашу тележку?

— «Лорен-дитрих», — ответил Козлевич.

— Ну, что это за название? Машина, как военный корабль, должна иметь собственное имя. Ваш «лорен-дитрих» отличается замечательной скоростью и благородной красотой линий. Посему предлагаю присвоить машине название — «Антилопа-Гну». Кто против? Единогласно.

Зеленая «Антилопа», скрипя всеми своими частями, промчалась по внешнему проезду Бульвара Молодых Дарований и вылетела на рыночную площадь.

Там взору экипажа «Антилопы» представилась бытовая картина. С площади, по направлению к шоссе, согнувшись, бежал человек с белым гусем под мышкой. Левой рукой он придерживал на голове твердую соломенную шляпу. За ним с криками бежала большая толпа. Убегавший часто оглядывался назад, и на его благообразном актерском лице можно было разглядеть выражение ужаса.

— Паниковский бежит! — закричал Балаганов.

— Вторая стадия кражи гуся, — холодно заметил Остап. — Третья стадия начнется после поимки виновного. Она сопровождается чувствительными побоями.

О приближении третьей стадии Паниковский, вероятно, догадывался, потому что бежал во всю прыть. От страха он не выпускал гуся, и это вызывало в преследователях сильное раздражение.

---

**СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ**  
САТИРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

---



*Глава I*  
«ВЕСНУЛИН» БАБСКОГО

Нет ни одного гадкого слова, которое не было бы дано человеку в качестве фамилии. Счастлив человек, получивший по наследству фамилию Баранов. Не обременены никакими тяготами и граждане с фамилиями Баранович и Барановский. Намного хуже чувствует себя Баранский. Уже в этой фамилии слышится какая-то насмешка. В школе Баранскому живется труднее, чем высокому и сильному Баранову, футболисту Барановскому и чистенькому кол-лекционеру марок Барановичу. И совсем скверно живется на свете гр.гр. Барану, Баранчику и Барашеку.

Власть фамилии над человеком иногда безгранична. Гражданин Баран если и спасется от scarлатины в детстве, то все равно проворуется и зрелые свои годы проведет в исправительно-трудовых домах. С фамилией Баранчик не сделаешь карьеры. Общеизвестен тов. Баранчик, пытавшийся побороть проклятие, наложенное на него фамилией, и с этой целью подавшийся было в марксисты. Баранчик стал балластом, выметенным впоследствии железной метлой. Братья Барашек и не думают отдаваться государственной деятельности. Они сразу посвящают себя мелочной торговле и бесславно тонут в волнах нэпа.

Герою нашего повествования досталась благонадежная, ручейковая фамилия — Филюрин. Он никогда не попадал в неудобные, смешные положения, в которых барахтаются Бараны, Баранчики и Барашеки. Солнце исправно освещало жизненный путь Егора Карловича Филюрина.

Пятнадцатого июля оно светило несколько сильнее обычного, потому что в этот день во всех учреждениях города Пищеслава выдавали полумесячное жалованье. Бульжные мостовые бросали зеркальный отсвет, перебегавший под карнизами немудреных пищеславских домов. Госпапиросник в полотняном переднике стоял на Тимирязевской площади в столбах солнечного света и жмурился на свой стеклянный ларек. На боку папиросника висел горчичного цвета фанерный ящик с двумя надписями. Первая, прозаическая — была кратка: «Ящик для жалоб». Вторая была в стихах:

Остановитесь, потребители!  
Жалобу на этого папиросника опустить не хотите ли?

В Пищеславе чрезвычайно заботились о благополучии граждан.

Егор Карлович Филюрин торопливо подошел к зашевелившемуся папироснику, купил двадцать пять штук папирос «Дефект», вынул из кармана заранее заготовленную жалобу и опустил ее в горчичный ящик. Прodelьвал это Филюрин ежедневно, так как был человеком с общественной жилкой. Иногда он жаловался на жесткий вкус папирос «Дефект», иногда протестовал против мягкой упаковки или же обрушивался на антисанитарный передник продавца. Если придраться было не к чему, Филюрин опускал в ящик узень-

кую ленточку бумаги со словами: «Сегодня никаких недочетов не выявлено. Е. Филюрин».

Пыхнув папироской, Филюрин отошел от равнодушного продавца и, пересекая вымощенную квадратными плитами площадь, очутился в освежающей тени конной статуи Тимирязева.

Великий агроном и профессор ботаники скакал на чугунном коне, протерши впереди правую руку с зажатым в ней корнеплодом. Четырехугольная с кистью шапочка доктора Оксфордского университета косо и лихо сидела на почетной голове ученого. Многопудовая мантия падала с плеч крупными складками. Конь, мощно стянутый поводьями, дирижировал занесенными в самое небо копытами.

Великий ученый, рыцарь мирного труда, сжимал круглые бока своего коня ногами, обутыми в гвардейские кавалерийские сапоги со шпорами, звездочки которых напоминали штампованную для супа морковь.

Удивительный монумент украшал город с прошлого года. Воздвигая его, пищеславцы подражали Москве. В стремлении добиться превосходства над столицей, поставившей у Никитских ворот пеший памятник Тимирязеву, город Пищеслав заказал скульптору Шац конную статую. Весь город, а вместе с ним и скульптор Шац, думали, что Тимирязев — герой гражданских фронтов в должности комбрига.

Шац на время забросил обязанности управдома, которые обычно исправлял, ввиду затишья в художественной жизни города, и в четыре месяца отлил памятник. В первоначальном своем виде Тимирязев держал в руке кривую турецкую саблю. Только во время приема памятника комиссией выяснилось, что Тимирязев был человек партикулярный. Саблю заменили большой чугунной свеклой с длинным хвостиком, но грозная улыбка воина осталась. Заменить ее более штатским или ученым выражением оказалось технически невыполнимым. Так великий агроном и скакал по бывшей Соборной площади, разрывая шпорами бока своего коня.

Филюрин вынул бархатную тряпицу, смахнул пыль с ботинок и присел на каменный цоколь отдохнуть. Он просидел недвижимо минут десять, мысленно распределяя жалованье. Из тридцати пяти рублей, полученных сейчас Егором Карловичем за полмесяца в отделе благоустройства Пиш-Ка-Ха, рублей шесть оторвала секта похитителей членских взносов. Кроме того, предстояло неприятное объяснение с квартирохозяйкой, мадам Безлюдной.

Стук колотушки, донесшийся из-за угла, прервал печальные вычисления. Филюрин поднял чистое лицо и прислушался. Стук разросся, к нему присоединились еще трещоточные звуки и словно бы грохот падающей мебели.

На площадь въехал изобретатель Бабский верхом на деревянном велосипеде. Над толстым еловым рулем трепетала пыльная борода, похожая на детские штанишки. Заметив Филюрина, изобретатель сделал крутой вираж, намереваясь остановиться, но инерция тяжелого аппарата была так велика, что Бабскому пришлось с раскоряченными ногами описать два кольца вокруг статуи, пока велосипед не остановился.

— Скорее! — крикнул Бабский.

— Что скорее? — спросил Филюрин, недоумевающе моргнув светлыми ресницами.

Но было уже поздно. Остановившийся велосипед накренился и рухнул на плиты, потащив за собою седока. Бабский вытащил ногу из-под шпагатной передачи и раздраженно обратился к Филюрину:

— Просил же я вас поддержать мой бицикл! Я — прошу убедиться — еще не выучился им как следует управлять! Нужно еще усовершенствовать тормоз и свободное колесо.

Вдвоем они подняли велосипед, оказавшийся очень тяжелым, и прислонили его к одному из четырех фикусов, стоявших по углам цоколя.

Бабский обеими руками раздвинул свою бороду и захохотал. Ударяя ладонью по велосипеду, он убеждал Филюрина:

— Дешевка! Материалу идет на восемь рублей! Прошу убедиться — одно дерево! Сейчас еду за патентом. Бицикл Бабского! Каково?

— Из этого нужно сделать соответствующие оргвыводы! — восхищенно сказал Филюрин.

— Какие выводы?

— Выпить.

— Это всегда можно. Дайте только патент получить.

— Изобретатель должен угощать, — сказал Филюрин с убеждением.

На фоне идущего к закату солнца фигура Бабского рисовалась грязно-оранжевой глыбой. Это был рослый старик с жирными плечами и бородой, полной пороху и мусора. Утверждали, что из его бороды однажды выскочила мышка.

В каждом городе есть свой сумасшедший, которого жалеют и любят. Им даже немножко гордятся. Городской сумасшедший быстро проходит по бульвару, громко и косноязычно выкрикивая слова. Он с размаху открывает дверь кондитерской, но не успевает еще дойти до прилавка, как навстречу ему улыбающийся хозяин выносит на тарелочке миндальное пирожное. Сумасшедший хватается за пирожное и, крича, убегает. Его преследуют дети. Но взрослые относятся к городскому сумасшедшему с почтением. Они привыкли к нему. Он стал для них достопримечательностью, наравне с городским театром и деревянной торцовой мостовой на главной улице.

Есть в каждом городе и свой изобретатель. Его тоже жалеют, но не любят, а побаиваются. Мало ли что может вдруг сочинить городской изобретатель!

Бабский был одновременно городским сумасшедшим и городским изобретателем. Целыми днями он бродил по пищеславским учреждениям, предлагая изобретения и усовершенствования всякого рода. А ночью он работал в своей маленькой комнате, пыльное окно которой смотрело на Косвенную улицу. То слышалось оттуда гудение паяльной лампы, то звывала автомобильная сирена.

Бабский не брезговал ничем. Окончив опыты над автомобильной сиреной, он изобрел вакцину, которая при впрыскивании в голенища делала сапоги огнеупорными! Провалившись на вакцине, Бабский в течение суток ломал голову над тем, как бы приурочить раскаты грома к двухлетнему юбилею работы местного госцирка. Провалившись на громовых концертах, неутомимый изобретатель произвел на свет «перпетуум мобиле», сделанное из двухрублевых ходиков и мятого самовара, емкостью в полтора ведра. Но и «перпетуум мобиле» не вышло. Тогда Бабский сварил опытный кусок мыла против веснушек. Он уже вышел на улицу, чтобы отнести мыло на пробу в аптечный подотдел, как его осенила мысль о постройке деревянного велосипеда. Изобретатель работал три дня, и из его рук вышел «бицикл Бабского». Все это время мыло лежало в левом кармане брюк, нагревалось и, никому не видимое, меняло свой яичный цвет на голубой.

— Скажите, Бабский, — спросил Филюрин, помогая изобретателю взобраться на кадку с фикусом, — изобретать — это трудно?

Бабский тяжело перелез с кадки на камышовое седло велосипеда и, кряхтя, ответил:

— Простейшее дело.

Раздался гром. Деревянная машина, вздрагивая, покатила по площади.

— Что это дает в месяц? — крикнул Филюрин вдогонку.

— Рублей шестьдесят-а-а-ат! — донеслось сквозь грохот.

Бицикл Бабского исчез в ослепляющей печи заката.

Филюрин хотел было продолжить путь к дому и сделал уже несколько шагов, когда под его ногами загремела металлическая коробочка. Филюрин поднял ее и повертел в руках. Коробочка была от зубного порошка, но внутри ее оказался кусок нежно-голубого мыла.

«Не иначе как Бабский выронил, — подумал Филюрин. — Интересно, сколько такое мыло может стоить?»

В неслужбное время мысль Филюрина работала довольно вяло. Всегда почему-то на ум ему взбредали одни и те же вопросы: сколько тот или иной предмет стоит, на сколько дешевле он продается за границей и как много зарабатывает собеседник. Только с барышнями он несколько оживлялся и вел беседы на волнующие темы — любовь и ревность. Но и с барышнями разговор ладился только до наступления сумерек, когда совместное сидение сводилось к лирическому молчанию.

Голубое мыло навело Филюрина на мысль о бане. Вечером предстояла дружеская вечеринка с танцами и оргвыводами, т. е. пивом и водкой.

Филюрин покинул площадь и двинулся в Дворянские бани. По дороге он зашел домой, захватил полотенце и льофовую рукавицу.

В Пищеславе средняя цена отдающейся внаем комнаты была восемь-девять рублей. Мадам Безлюдной Филюрин платил только четыре, так как мадам училась пению и ее фиоритурой сильно понижали стоимость комнаты. И сейчас мадам Безлюдная, оскалив золотые зубы, ревела в таком забвении, что Филюрину удалось проскочить через коридор, избежав объяснений по поводу квартплаты.

Филюрин давно не платил за квартиру. Он собирал деньги на костюм.

Он выбежал на улицу, радуясь тому, что уберег от золотозубой хозяйки четыре рубля, что сейчас он сможет опустить в банный ящик для жалоб какое-либо дельное заявление и, сбросив с себя двухнедельную грязь, отправиться на вечеринку, где его ждет беспремерное веселье в обществе сослуживцев из отдела благоустройства.

Последний широкий луч солнца лег на бритый затылок Филюрина.

Десятки тысяч людей с бритыми затылками и с такими же, как у Филюрина, чистенькими лицами и серенькими глазами влачат обыденную жизнь, исправно ходят в баню, исправно платят членские взносы в профсоюз и не посещают общих собраний, добросовестно веселятся в обществе сослуживцев и ставят себе за правило не платить за квартиру; но не их избрала судьба, не им позволила история выдвинуться для дел больших и чудесных.

Дивный и закономерный раскинулся над страной служебный небосклон. Мириады мерцающих отделов звездным кушаком протянулись от края до края, и еще большие мириады подотделов, сияющие электрической пылью, легли, как Млечный Путь. Финансовые туманности молочности светят и приманчиво мигают, привлекая к себе уповающие взоры. Хвостатыми кометами проносятся по небу комиссии. И тревожными августовскими ночами падают звезды — очевидно, сокращенные по штату. Иные из них, падающие метеоры, не успев сгореть и обратиться в пар, достигают суетной земли и шлепаются прямо на скамью подсудимых. Есть и блуждающие в командировках звезды. Притягиваемые то одной, то другой звездной организацией, они носятся по небосклону, пока не погибают в хвосте какой-нибудь кометы с контрольными функциями.

Велико звездное небо отечественного аппарата и обширен выбор светил. Но для великих преобразований в городе Пищеславе судьба выбрала самую маленькую и неяркую звездочку, свет которой еще не дошел до земли. Выбрала она Егора Карловича Филюрина — мандолиниста и неплательщика в жизни, а по службе скромного регистратора Пищ-Ка-Ха.

Войдя в баню, Филюрин еще не знал, что выйдет оттуда великим. Поэтому, выбрав угловой диванчик, Егор Карлович стал медленно раздеваться. Он распустил матерчатый поясок своей полутолстовки, снял вечный визиточный галстук с металлической машинкой, сорочку с пикейной рубчатой грудью и брюки, брэнчавшие, как сбруя (Филюрин носил в карманах множество мелких железных кружочков, которые опускал в автоматы, вместо гривенников).

Раздевшись догола, Филюрин долго поглаживал плечи и бока, остывая и с пренебрежением поглядывая на других голых. Знакомых в бане не было. Пе-

рекинув через плечо полотенце, Филюрин взял голубое мыло Бабского и вошел в мыльную.

В это время Бабский, подав заявление о патенте и торопливо объяснив собравшейся у входа в ГСНХ толпе преимущества елового бицикла перед металлическим, с шумом выкатил на проспект имени Лошади Пржевальского.

В этот сумеречный час между двумя рядами пепельных от пыли лип уже гуляли пиццеславцы. Привыкшие к причудам городского изобретателя граждане провожали бицикл равнодушными взглядами.

Поворачивая на площадь, Бабский наехал на человека в белой косоворотке. Потерпевший покачнулся.

— А! Это вы, товарищ Лялин! — примирительно сказал Бабский. — Я как раз хотел сегодня заехать к вам в аптечный подотдел.

— Опять изобрели что-нибудь? — проворчал товарищ Лялин, массируя ушибленное бедро.

— Изобрел, изобрел! Мыло от веснушек. «Веснулин» Бабского! Сейчас покажу. Весь город ахнет, прошу убедиться. Подержите бицикл.

Освободив руки, изобретатель стал рыться в карманах, ища «веснулин». Но ни в одном из всех четырнадцати карманов пиджачной тройки он не нашел металлической коробочки с мылом.

— Так вы мне завтра в подотдел занесите, — нетерпеливо сказал Лялин, — там и подработаем вопрос.

— Позвольте, позвольте, куда же оно могло деться, — суетился Бабский, — позвольте, где же я был? Наверно, в губсовнархозе оставил. Подождите здесь! Я сейчас приеду!

И Бабский, оттолкнувшись ногой от заведующего аптечным подотделом, покатил обратно по проспекту им. Лошади Пржевальского.

Пока Бабский ломился в закрытые двери ГСНХ, а потом, опечаленный потерей «веснулина», колесил по всему городу, наполняя его погремущечным стуком, Филюрин мылился.

Он окатился горячей водой из шайки, которой пришлось дожидаться довольно долго, зажмурил глаза и густо намылился. «Веснулин» Бабского издавал беспокойный скипидарный запах.

«Медицинское мыло, — с удовольствием подумал Филюрин, не раскрывая глаз и клекоча от наслаждения, — наверно, не меньше сорока копеек стоит».

Филюрин чувствовал, как тело его становится легким. От этого было приятно, и в голове происходил маленький сумбур. Мыслилось что-то такое очень хорошее, что-то вроде кругосветного путешествия за полтинник. И казалось Филюрину, что он исчезает и растворяется в банном тепле.

И, странное дело, милиционеру надзирателю Адамову, мывшемуся неподалеку и только что намылившему голову семейным мылом, показалось, что голова знакомого ему по участковым делам Филюрина исчезла и моется одно только туловище.

Адамов стал быстро промывать залепленные пеной глаза, а когда промыл, в углу, где только что стоял Филюрин, никого не было. Только вились смутные локончики пара да раскатывалась по наклонному полу тяжелая шайка.

Милиционер Адамов был так удивлен происшедшим, что ему захотелось вытащить свисток и созвать на помощь дворников. Но свисток вместе со всей форменной упряжкой остался в предбаннике. К тому же к освободившейся шайке уже подползали голые. Адамов недолго думая первым схватил шайку и предался дальнейшим банным удовольствиям. О Филюрине он сейчас же забыл.

Между тем Филюрин с закрытыми еще глазами подошел к крану и, зачерпнув в ладони холодной воды, умыл лицо. То, что он увидел, или, вернее, то, чего он уже не увидел (а не увидел он многого: ни своих рук, ни ног, ни живота, ни плеч), ошеломило его. В страхе он побежал под душ. Он чувствовал, как под теплым дождем слетело с него мыло, но тело продолжало отсутствовать.

---

**РАССКАЗЫ И ФЕЛЬЕТОНЫ**  
**1929–1937**

---

## К БАРЬЕРУ!

В робкое подражание состоявшейся недавно в Москве смычке русских писателей с украинскими, редакции ЧУДАКА удалось организовать еще одно культурное празднество — встречу классиков с современными беллетристами.

Наиболее любезным и отзывчивым оказался Лев Николаевич Толстой, немедленно ответивший на приглашение телеграммой: «Выезжаю. Вышлите к вокзалу телегу».

Гоголь, Пушкин, Достоевский и Лермонтов прибыли с похвальной аккуратностью.

Из современных беллетристов пришли — Лидин, Малашкин, Леонов и Пильняк.

Приходили еще Шкловский и Катаев. Катаев, узнав, что ужина не будет, — ушел, Шкловский вздохнул и остался.

Когда все собрались, наступило естественное замешательство. Лев Толстой, заправив бороду в кушак, с необыкновенной подозрительностью рассматривал писателя Малашкина. Лермонтов посвистывал. Пильняк растерянно поправлял очки на своем утином носу и, вспоминая, какую ерунду он написал про Лермонтова в своем рассказе «Штосс в жизнь», уже пятый раз бормотал Шкловскому:

— Но при советской власти он не может вызвать меня на дуэль? Как вы думаете? Мне совсем не интересно стреляться с этим забиякой!

На это Шкловский отвечал:

— Я формалист и как формалист могу вам сообщить, что дуэль является литературной традицией русских писателей. Если он вас вызовет, вам придется драться. И вас, наверное, убьют. Это тоже в литературных традициях русских писателей. Я говорю вам это как формалист.

И Пильняк горестно склонялся на плечо Лидина.

Леонов с восторгом на пухлом лице заглядывал в глаза Достоевскому. Гоголь сутулился где-то на диване. Жизнерадостен был лишь Александр Сергеевич Пушкин, немедленно усвоивший себе всю мудрость висевшего на стене плаката «Долой рукопожатие» и не подавший на этом основании руки Лидину.

Наконец, вошел Горький. Пользуясь тем, что с одной стороны он классик, а с другой — современный беллетрист, собрание единогласно избрало его председателем.

В короткой речи Алексей Максимович объявил, что целью предстоящих дебатов является обнаружение недостатков в произведениях собравшихся.

— Одним словом, — добавил быстро освоившийся Пушкин, — выявление недочетов! Прекрасно! Но я хочу на данном отрезке времени выявить также и достижения. В книге моего уважаемого собрата по перу, Малашкина, под названием «Сочинения Евлампия Завалишина о народном комиссаре», на



120 стр. я прочел: «Кухарка остановилась, оттопырила широкий зад, так что обе половинки отделились друг от друга». Это блестяще, собрат мой! Какой выпуклый слог!

Малашкин, багровея, отошел к подоконнику и оттуда забубнил:

— А Лидин, конечно, писатель нехороший. Но вот что написал хороший писатель Гоголь в повести «Ночь перед Рождеством». Написал он так: «Маленькие окна подымались, и сухощавая рука старухи (которые одни только вместе со степенными отцами оставались в избах) высовывалась из окошка с колбасою в руках или куском пирога». Что это за рука, выросшая на руке же у старухи?

Все повернулись в сторону Лидина и долго на него смотрели. Наконец, автора «Отступника» взял под свою защиту Шкловский.

— Лидин, конечно, писатель нехороший. Но вот что написал хороший писатель Гоголь в повести «Ночь перед Рождеством». Написал он так: «Маленькие окна подымались, и сухощавая рука старухи (которые одни только вместе со степенными отцами оставались в избах) высовывалась из окошка с колбасою в руках или куском пирога». Что это за рука, выросшая на руке же у старухи?

— А кто написал, что «Прусская пехота, по-эскадронно гоняясь за казаками...», — раздался надтреснутый голос Гоголя. — Написано сие в «Краткой и достоверной вести о дворянине Болотове», в сочинении Шкловского. Вот, где это написано, хотя пехота в эскадронах не ходит.

От неожиданности лысина Шкловского на минуту потухла, но потом заблистала с еще большей силой.

— Позвольте, позвольте! — закричал он.

— Не позволю! — решительно отвечал Гоголь. — Если уж на то пошло, то и наш уважаемый председатель Алексей Максимович чего понаписал недавно в журнале «Наши достижения»! Рассказал он, как некий тюрк-публицист объяснял «...интересно и красиво историю города Баку». «Бакуиэ» называл он его и, помню, объяснял: «Бад» — по-персидски гора, «Ку» — ветер. Баку — город ветров». А оно как раз наоборот: «ку» — гора, «бад» — ветер. Вот какие у вас достижения!

Назревал и наливался ядом скандал. Шкловский рвался к Льву Толстому, крича о том, что не мог старый князь Болконский лежать три недели в Богучарове, разбитый параличом, как это написано в «Войне и мире», если Алпатыч 6-го августа видел его здоровым и деятельным, а к 15 августа князь уже умер.

— Не три недели, значит, — вопил Шкловский, — а 9 дней максимум он лежал, Лев Николаевич!

Лермонтов гонялся за Пильняком, пронзительно крича:

— Вы, кажется, утверждали в своем «Штоссе в жизнь», что мои и ваши сочинения будут стоять на книжных полках рядом? К барьеру! Дуэль!

— Позволь мне! — просил Пушкин, — я сам его ухлопаю. Иначе он про меня тиснет какой-нибудь пасквильный рассказик.

— Телегу мне! — мрачно сказал Толстой.

За Толстым, который уехал, не попрощавшись, переругиваясь, повалили все остальные.

Культурное празднество, к сожалению, не удалось.

1929

### ПОБЕЖДЕННЫЙ ОСКАР («Негр» в Камерном театре)

Тень Оскара Уайльда в глухом сюртуке и высоком, колючем воротничке витала над Камерным театром больше десяти лет. Как появилась тень этого благородного англичанина в день премьеры «Саломеи», так и прижилась. Она

своевольно вмешивалась в дела режиссера Таирова, стучалась в уборные актеров и читала им певучие нотации.

— Ты как ножку ставишь? Видел, как немецкие солдаты маршируют? Так и ходи, как в «Саломее» ходил.

И все покорялись придиричливой тени. По лицу режиссера Таирова катились перламутровые слезы. Он хотел освободиться от тени. Но тень была сильнее, и каждая новая постановка была похожа на «Саломею», как походит иной ответственный работник на родителя своего — служителя культа.

Катерину из «Грозы» нельзя было отличить от страстной дочери царя Ирода, краснозадые туземцы из «Багрового острова» рычали, как Иоканааны, и где-то за кулисами рыдал Булгаков в насильно напряженном на него глухом уайльдовском сюртуке и остром, как бритва, воротничке, подпирющем склеротические щечки.

Но вдруг, воспользовавшись тем, что тень Уайльда вышла на минуту из театра по своей надобности, режиссер Таиров запер двери и не пустил англичанина назад. Освобожденный от докучливой тени, Таиров поставил новую пьесу О'Нейла «Негр». И в первый раз за десять лет в театре не пахло Уайльдом.

Чтобы узнать, стоит ли идти на новую пьесу, нужно обратиться к первому знакомому драматургу. Если он скажет, что пьеса плохая, — значит, пьеса хорошая. Если же он выразится о пьесе одобрительно, то это значит, что пьеса — его собственная или еще хуже.

«Негра» знакомый драматург обязательно выругает.

— Какая же это пьеса? — скажет драматург, сияя. — Там в первой картине 154 реплики, а у Бомарше в первой картине «Женитьбы Фигаро» — 279. А кто классик? Бомарше! Кстати, в моей пьесе «О чем рычала трансмиссия» в первой картине ровно 279 ре...

Достаточно хотя бы бегло взглянуть на четвертую картину «Негра», чтобы убедиться в неправоте автора «О чем рычала». В картине этой есть только одна реплика — и какая реплика! Жалкая, она тонет в грохоте аплодисментов. Да и вообще О'Нейл в своей короткой и мужественной пьесе скуп на реплики.

Пьеса настолько коротка, что Таирову для услаждения капризных москвичей пришлось выпускать на просцениум плохих тенорков, которые в соответствии со своими не столь голосовыми, сколь носовыми данными исполняли перед занавесом сладковатые песенки.

Но даже и это мероприятие не могло убить пьесу.

Режиссер Таиров ввел еще и такое нововведение. Во время сумасшествия героини декорации сдвигаются и раздвигаются, как гармоника. Придумав это, режиссер радовался, как дитя, и все время возвращался к своей игрушке. Публике игрушка тоже понравилась.

— Сейчас, сейчас сдвинется! — восклицали прозорливцы.

И декорации действительно сдвигались.

— А сейчас раздвинется! Ой, раздвинется! — утверждали пророки.

И декорации действительно раздвигались.

Теперь несколько слов о титулах.

В наше время длинные, высокопарные и гремучие титулы сохранились только у деятелей искусства.

Нет больше князей и баронов.

Но есть князья оперы, герцоги драмы и баронессы оперетки.

Некоторые знатоки генеалогии из Главискусства утверждают, что князь равен теперь народному артисту республики, граф — заслуженному артисту и так далее, иногда даже сфуплер бывает заслуженным бароном. Тогда он особенно громко подает реплики.

В таком аристократическом окружении публика чувствует себя стесненной. Многим просто неловко. Они простые счетоводы, а не заслуженные, они простые монтеры, а не народные монтеры республики.

В «Негре» занята была только одна заслуженная артистка — Коонен, да и той аплодировали не за чин, а за хорошую игру.

1929

### ПТАШЕЧКА ИЗ МЕЖРАБПОМФИЛЬМА

В городе Бобруйске произошло несчастье.

Местный фотограф Альберт написал киносценарий. А так как Альберт был тонким ценителем изящного и по рассказам бобруйских старожиллов превосходно знал все детали великосветской жизни, то сценарий вышел полнокровный.

Однако Альберт понимал, что в наше суровое время без идеологии — труба. Поэтому, кроме аристократов, в сценарии действовали и лица, совершающие трудовые процессы. Об этом можно было судить уже из одного названия сценария.

Нас три сестры. Одна за графом, другая герцога жена,  
а я, всех краше и милее, простой беднячкой быть должна.  
Сценарий Гарри Альберта.

Дописав последнюю строку, Альберт запер свое фотографическое заведение на всячий замок, отдал ключи шуруину и, запаковав сценарий в корзину, выехал в Москву.

Зная по картинам «Кукла с миллионами» и «Медвежья свадьба», что с постановкой «Нас три сестры, одна за графом, другая герцога жена...» сможет справиться только фабрика Межрабпомфильм, Альберт направился прямо туда.

Прождав шесть дней в коридорах, по которым прогуливались молодые люди в развратных шерстяных жилетках и приставских штанах, Альберт попал в литчасть.

— Длинное название! — сразу сказал толстый человек с превосходными зубами, принявший у Альберта его рукопись. — Надо сократить. Пусть будет просто «Три сестры». Как вы думаете, Осип Максимович?

— Было уже такое название... — сумрачно отозвался Осип Максимович. — Кажется, у Тургенева. Актуальнее будет назвать «Герцога жена». Как вы думаете, Олег Леонидович?

Но Олег Леонидович уже читал вслух сценарий Гарри Альберта.

1. Граф Суховейский в белых штанах наслаждается жизнью на приморском бульваре.

2. Батрачка Ганна кует чего-то железного.

3. Крупно. Голые груди кокотки Клеманс.

4. Крупно. Белой акации ветки душистые или какая-нибудь панорама покрасивше.

5. Надпись: «Я всех краше и милее».

6. Кующая Ганна, по лицу которой капаят слезы.

7. Граф опрокинул графиню на сундук и начал от нее добиваться.

В середине чтения в литчасть вошел лысый весельчак.

— Уже, уже, уже! — закричал он, размахивая короткими руками.

— Что уже, Виктор Борисович? — спросили Олег Леонидович с Осипом Максимовичем.

— Уже есть у нас точно такая картина, называется «Веселая канарейка», сам Кулешов снимал.

— Вот жалко, — сказал Олег Леонидович. — А сценарий хорош. До свидания, господин Альберт.

И автор сценария «Нас три сестры, одна за графом...» с разбитым сердцем уехал на родину. А «Веселая канарейка», как правильно заметил Виктор Борович, уже шла на терпеливых окраинах всего Союза.

Был в Одессе кабак «Веселая канарейка», был он при белых. Тут есть все, что нужно Межрабпомфильму для создания очередного мирового боевика: ресторан для коммерции, а белые для идеологии. (Без идеологии нынче — труба.)

В ресторане:

Голые ножки — крупно. Бокалы с шампанским — крупно. Джаз-банд (которого, кстати сказать, в то время в Одессе не было) — крупно. Погоньи — крупно. Чья-нибудь грудь «покрасивше» — крупно. Монтаж — перечисленное выше.

Но были в Одессе также и пролетарии. Однако Межрабпому показывать их в обычном виде скучно. Поэтому режиссер Кулешов пролетариев переодел. Один в революционных целях приобрел облик князя (визитка, лакированные туфли, цилиндр). Другой в тех же целях ходит в виде блестящего казачьего офицера (шпоры, кинжалы, аромат гор, черные усы).

Таких пролетариев можно показать и крупно.

Действие разворачивается примерно тем же мощным темпом, что и у Гарри Альберта:

1. Отрицательные персонажи наслаждаются жизнью на приморском бульваре.

2. Пролетарии говорят чего-то идеологического.

3. Крупно. Голые груди кокоетки.

4. Крупно. Белой акации ветки душистые.

5. Надпись — «Это есть наш последний...»

6. По лицу жены положительного персонажа текут слезы протеста против французского империализма.

7. Кокотка в ванне — крупно. Она же в профиль, сверху, снизу, сбоку, с другого боку.

8. Надпись: «...и решительный...»

9. Чего-то идеологического. Можно копыта лошадей — крупно.

10. Надпись: «...бой!!!»

11. Отрицательный персонаж хочет расстрелять положительного.

12. Князь в визитке и цилиндре спасает его.

После этого на экране показывают фабричную марку Межрабпомфильма — голый рабочий поворачивает маховое колесо.

Мы предлагаем эту марку поскорее заменить. Пусть будет так: голая девушка поворачивает колесо благотворительной лотереи.

Это по крайней мере будет честно. Это будет без очковтирательства.

1929

### ВАША ФАМИЛИЯ?..

(Музык-Холл. Обзорение «С неба свалились».

Автор неизвестен)

В большом городе встречаются люди, которые скрывают свою профессию. Это беговые жучки, бильярдные чемпионы, поставщики анекдотов для календарей и старушки, обмывающие покойников. Все они почему-то выдают себя за членов профсоюза нарпит. Одеваются они скромно, и лица у них серенькие.

Но среди таких, стыдящихся своей профессии, людей есть прекрасные фигуры. Это еще молодые граждане в котиковых шапочках и розовых кашне. Обедают они в ресторане Союза писателей, а ужинают в артистическом кружке. Они точно знают, с кем и как живет администратор Принципиального театра, скоро ли дадут «заслуженного» резонеру Небесову, а также куда и на каких условиях «покончил» конферансье Саша Бибергал.

Это мародеры, следующие по пятам наступающей или отступающей театральной армии. Это сочинители диких романсов, в которых клеймятся фашисты, песенки шута, где подвергаются осмеянию король и королева. Это поставщики отбросов в непрехотливые театры малых форм. Свои произведения они не подписывают, будучи людьми осторожными.

Но их, как и всех скрывающих свою профессию, быстро находят те, которые в них нуждаются. Старушки сами появляются в тех домах, где лежит покойник. Бильярдные короли тихими голосами предлагают вам сыграть по маленькой, а потом обыгрывают вас дотла. Беговой жучок издали приветствует вас радостными жестами и за двадцать копеек обещает указать лошадь, которая наверное придет первой и сделает вас богатым и счастливым. Молодые люди в котиковых шапочках порхают за кулисами и готовы в кратчайший срок обогатить портфель театра любым произведением — агитдрамой, сельхозводевилем, синтетическим монтажом, предвыборной интермедией или идеологическим обзорением.

С недавнего времени котиковые молодые люди, пробавлявшиеся до сих пор антифашистскими элегиями и агрономическими скетчами, вышли на большую дорогу, теперь они пишут обзоры для московского Мюзик-Холла.

Таинственные анонимы остались верны своей привычке угождать всем господам — Главреперткому, который борется с мешанством, и мешанству, которое борется с Главреперткомом.

Репертком убажуют видом положительных крестьянок в шелковых юбчонках, а соответствующую публику голыми ножками, самодельным джазом и опереточной звездой.

Репертком сначала хмурится. Голые ножки, джаз и звезда пугают его. Но крестьянки в шелковых юбчонках вызывают у реперткома радостную улыбку и одобрительные слова:

— Наконец-то родной наш Мюзик-Холл выходит на широкую дорогу общестственности!

Что же касается зрителя, то положительные крестьянки, тоненькими голосками проклинаящие внешних и внутренних врагов, приводят его в замешательство. Это же самое, но в более осмысленном исполнении, он мог бы услышать даром в своем жилтовариществе на вечере самодеятельности! И только голые ножки, звезда и джаз спасают положение.

— Еще можно жить и работать, — говорит зритель. — Совсем как у людей.

Если порядочному драматургу предложат написать пьесу при том условии, что в ней главными действующими лицами должны явиться: зебра из зоосада, два трамвайных пассажира и предводитель сирийского племени друзов, а в качестве вещественного оформления фигурировать: фрезерный станок, полдюжины пуговиц и изба-читальня, — то порядочный драматург немедленно ответит:

— Нет. Занимательного и полезного зрелища, то есть зрелища, на котором широкая масса могла бы отдохнуть душой и телом, я сделать не могу. Полагаю, что этого не могли бы сделать также ни Шекспир, ни Чехов, ни Шкваркин.

Но то, что не под силу мастерам сцены, вполне доступно котиковым молодым людям.

С цыганским смаком они принимают любые заказы.

— Что? Идеологическое обозрение? Прекрасно! Из чего делать? Тридцать девушек? Конечно, голые? Хорошо! Разложение? Два роликобежца? Отлично! Бар? Опереточная звезда? Великолепно! Песенка позкзотичней? И для комика отрицательный персонаж? Превосходно! Можно типичного бюрократа, — знаете, — с портфелем...

И котиковые молодые люди, не теряя ни секунды, принимаются за работу. Через два дня великолепное обозрение готово. Называется оно: «С неба свалились». Советский гад и бюрократ (Поль) попадает за границу, где взору его

представляются тридцать голых фигуранток, одна американка (голая), артистка Светланова и джаз. Затем действие переносится на территорию нашего отечества, куда гад и бюрократ (Поль) привозит тридцать фигуранток, одну американку (голую), артистку Светланову и джаз. На этом бессмысленное обозрение обрывается.

Во время перерывов, вызванных тем, что ни режиссер, ни актеры не знают, что делать дальше, на сцену выходит конференсье в своем обычном репертуаре, повторяя изо дня в день излюбленные публикой экспромты.

Дирижер, до которого дошли туманные слухи о том, что за границей дирижеры якобы подпевают оркестру, время от времени начинает петь так, как не позволил бы себе петь даже дома с целью досаждения вредным соседям.

Если Мюзик-Холлу не стыдно и он собирается ставить свои «марксистские» обозрения и впрямь, то это должно обусловлено двумя пунктами:

1. Фамилия автора(ов) широко публикуется(ются).

2. Фотографические их карточки анфас и в профиль вывешиваются в вестибюле театра.

Надо знать, с кем имеешь дело!

1929

### СОРЕВНОВАНИЕ ОДИНОЧЕК

Параллельно начатому недавно соревнованию между заводами стали состязаться между собой и отдельные граждане нашего отечества.

Но в то время, как предприятия соревнуются на лучшую работу, граждане-одиночки из кожи лезут, чтобы совершить что-нибудь побезобразней.

Турнир начал Липпер, рабочий мариупольского завода имени Ильича. Фантазия у этого человека оказалась небольшая — он проглотил пятак царского образца и от этой болезни лечился почти два месяца, что страхкассе обошлось в сто тридцать восемь рублей.

Трудно, конечно, поверить тому, что взрослый человек глотает царские пятаки по неосторожности. Взрослые люди глотают только шпаги, да и то с целью извлечения доходов. Но откуда же в Мариуполе быть шпагам? Пришлось Липперу удовольствоваться медяком. Но в остальном он не прогадал. Доходу его от этого дела позавидует любой шпагоглотатель.

Соревнование продолжил главный бухгалтер бобруйского кустпромхоза Ревзин. Но то ли Ревзин не нашел подходящей монеты, то ли пожирание аннулированных денежных знаков показалось ему вообще пошлым занятием, но бухгалтер пошел по другой линии.

На собрании по случаю Международного дня работницы бухгалтер терпеливо прослушал все речи о раскрепошении женщины, а потом встал и, сверкая одухотворенными глазами, заявил:

— Уважаемый докладчик не полностью осветил женское движение. Были женщины гораздо активнее теперешних. О них надлежит сейчас же вспомнить. Например, Екатерина Великая или председательницы разных благотворительных обществ, например!

Кто знает, чего бы еще не наговорил главный бухгалтер. Может быть, от веселой Екатерины он перешел бы к воспоминаниям о Мессалине. Может быть, предложил бы он даже почтить память Мессалины вставанием, но, подняв свои одухотворенные глаза, бухгалтер заметил смущение в рядах слушателей и прервал свою речь на самом интересном месте.

Тоска бухгалтера по активным женщинам оказалась, впрочем, необоснованной. Есть еще у нас женщины с сильным характером.

Милиция арестовала акушерку Алексееву, занимавшуюся нелегальными абортными в станице Пашковской, вблизи Краснодара. От сделанного ею аборта в это время умирала крестьянка Горбань.



На другое утро в пашковскую милицию явилась дама в перчатках и накинулась на милиционера с таким пылом, что бедняга принял ее за Екатерину Великую. Дама оказалась, однако, чином повыше.

— Как вы смели арестовать мою маму? — кричала она. — А известно ли вам, что я жена зав. окрторгом Осипова! Немедленно освободите мою маму!

Но милиционер не захотел освободить виновницу множества варварских абортов, маму великой женщины в перчатках, за что и был обзован полицейским.

Нарсудья Савин тоже не уважил незаконной просьбы. Уже через полчаса после этого он понял, что дама сбегала еще кой-куда, потому что в милицию прибежал очень возбужденный начальник адмотдела Вождев и потребовал освобождения мамы жены зав. окрторгом. Не преуспев в этом, начальник удалился.

А любвеобильная дочь работала вовсю. Еще через полчаса в милицию вошел следователь Кондратьев и распорядился освободить маму ответственной жены, заявив, что так велел прокурор Раусов.

А дочь продолжала работать. Явился нарочный из города и вручил нарсудье бумажку от врид.-пред. Кубоксуда Порукова. Врид.-пред. требовал от нарсудьи явки к нему с докладом по делу акушерки.

А еще через день умерла крестьянка Горбань.

Так в один день из-за тещи зав. окрторгом был поднят на ноги чуть ли не весь окружной аппарат.

Но все эти безобразные достижения превзошел коллектив «Заря свободы» в станице Петровской Кубанского округа.

До 1927 года в коллективе применялись розги. Без этого заря свободы казалась руководителям артели неполной. Провинившимся всыпали от пяти до двадцати розог, смотря по проступку. Теперь наказанием служат поклоны в молитвенной комнате — виновники кладут до трехсот и больше поклонов.

Другие прелести «Зари свободы» заключаются в запрещении членам артели жениться. Руководители-сектанты выгоняют женившихся из коллектива.

Наряду с этим сектантские главы не гнушаются принимать от безбожно-го правительства большие кредиты.

Мариупольскому глотателю пятаков остается только завидовать. На состязании он остался далеко позади полномочной жены зав. окрторга. А о лаврах «Зари свободы» ему даже и мечтать нельзя.

1929

## ДВА АГИТПРОПА

### *Путь молитвы и подписки*

Самые смиренные названия носят у нас религиозные журналы. Сразу видно, что эти журналы ничего общего не имеют с изданиями светскими и суетными, вроде журнала «Даешь» или провинциального литературного приложения, снабженного пышным титулом «Грохот станков».

Грохота здесь не заметно. Все скромно и благостно.

Духовно-нравственный журнал «Баптист».

Журнал евангельских христиан для всех ищущих истину и любящих Господа — «Христианин».

Есть и сладенький журнал адвентистов седьмого дня «Голос истины», есть и полевой цветочек под названием «Вестник духовных христиан-молокан».

Зато содержание духовно-нравственного журнала совсем иное.

Уже передовая «Утренний час с Богом» учит осторожному отношению к прессе.

«Утреннее бдение, — поучает духовно-нравственный журнал, — готовит нас к ежедневной борьбе с началом зла внутри и вне нас... мы вооружаемся ранее, чем сатана найдет возможность напасть на нас, прежде, чем взяться за чтение утренней газеты...»



Грех пожаловаться на недостаток материала в «Баптисте». Его множество. Тут и статья «Как успевать в христианской жизни» с советами немедленно присоединиться к церкви, часто молиться и питаться словом божьим, и снова стихи, и притчи, и ответы читателям, и ноты духовных гимнов, и хроника.

Но наибольшего пафоса редакция достигает в обращении к читателям.

В светских журналах такое обращение звучит сухо и деловито: «Открылась подписка на такой-то журнал. Цена на год — 6 руб., на полгода — 3 р. 20 коп., на 1 мес. — 60 коп.».

Совсем не то в «Баптисте». Здесь голос духовных пастырей достигает высочайшего напряжения:

«Дорогие братья и сестры! С сердечной просьбой обращаемся к вам и просим принять эту нашу просьбу близко к сердцу. Просим вас при перемене вашего адреса сообщать об этом в редакцию заблаговременно». Но братья и сестры путают заказы.

«В результате же огорчение. Оказывается, надо журнал посылать вместо Мартынова на имя Мосенко. Братья, так же нельзя обращаться с редакцией».

«...Братья, ведь нас много! Если вы не будете внимательны к собственным заказам, то, конечно, вы запутаете все...»

В конце концов редакция издает протяжный вопль:

«Просим вас, дорогие братья и сестры, больше и усерднее молиться за нас и за журнал, чтобы он доставлял благодать читающим. Очень много есть людей, имеющих желание побранить редакцию, пробрать ее, а как мало молящихся за дело братского журнала «Баптист». Станьте на путь молитвы за журнал и увидите успех».

Тут редакция сделала важное упущение. Молитва за журнал, конечно, расширяет подписку, но хорошо бы, если подписчики еще постились.

Если еще и пост, тогда дело верное. Подписка, безусловно, расширится, и 39-й «Интернациональной» типографии в Москве, где печатается эта духовная пища, будет больше работы.

Не переименовать ли, кстати, эту типографию из «Интернациональной» в типографию имени 12 апостолов?

О, как прекрасны ноги твои...

Руководствуясь самыми благими намерениями, издательство «Прибой» выпустило брошюрой «Антирелигиозную викторину».

Некоторые вопросы, которыми издательство «Прибой» надеется распропагандировать сторонников религии, вызывают смущение.

Вот вопрос под № 47:

«Когда женский вопрос впервые был поставлен ребром?»

Нет сомнения, что здесь встанет в тупик как небольшая группа играющих, так и массовое собрание.

И долго будут все молчать, пока торжествующий руководитель вечера не объяснит, что это случилось при сотворении Евы из ребра Адама.

Но не успевают собравшиеся оправиться от этого тяжкого каламбура, как на головы их обрушивается новая каверза «Прибоя»:

«51. Какого кардинала нельзя назвать мракобесом?»

Тревога пробегает по рядам.

— Какого же, в самом деле, кардинала нельзя назвать мракобесом? Кто же, наконец, этот дивный кардинал?

Взоры с надеждой обращаются на счетовода административно-финансового отдела товарища Пруста, отец которого был католиком.

Но Евстигней Пруст, отец которого был католиком, тоже ничего не знает о таком кардинале.

Один лишь руководитель смеется безумным смехом. Он уже заглянул в последние странички брошюрки и знает ответ:

«Мракобесом нельзя считать птицу кардинал, каковая водится в Америке. Смотри «Малый энциклопедический словарь», изд. Брокгауз — Ефрон, т. II — «Кардинал».

Рассмешив таким образом собрание, автор викторины углубляется в области более серьезные, и вопрос № 79 гласит:

«Где сказано: «Слуги, повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым, ибо такова есть воля Божья?»»

Все молчат. Чтобы ответить на такой вопрос, надо быть не только человеком верующим, но еще и начетчиком, великолепно знающим тексты Нового Завета. Сказано это в Первом послании апостола Петра, глава II, стих 13.

Затем собрание засыпают градом вопросов:

«Чем известен в истории христианской церкви монах Дионисий Малый? Не знаете! Так, так! А «какой святой православной церкви ударил по уху епископа на одном из Вселенских соборов?» И это вам неизвестно?

Собрание смущенно молчит. Многие из оглушенных викториной потратили свою молодость на изучение политграмоты и сделали большую оплошность — так и не узнали, какой такой святой смазал по уху епископа.

Последние вопросы викторины проходят уже при опустевшем почти зале.

Напрасно руководитель вопит:

— Почему говорят: «Последняя у попа попадаья»? «При чтении какого евангелия попы плюются»? Откуда текст: «О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, дщерь именитая!.. Живот твой — круглая чаша... два сосца твои как два козленка... Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селлах... там я окажу ласки мои тебе?»

Но никого уже нет в зале. Все побежали менять книжки политэкономии на послания апостолов.

Нельзя же иначе! У нас теперь, как-никак, культурная революция. Стыдно ведь не ответить на вопросы безбожной викторины, состряпанной «Прибоем».

1929

## КАБИНЕТ ВОСКОВЫХ ФИГУР

Экспонаты Музея восковых фигур поражают зрителя сходством своим с живыми существами.

Ужаленная змеей египетская царица Клеопатра тяжело дышит. Император Нерон с необыкновенной естественностью рассматривает публику в изумруд. За столом сидит обезьяна в цилиндре и читает газету.

Все как будто живет натуральной жизнью, и в то же время все мертво и представляет только видимость жизни.

Есть такой музей и в Самаре.

Сначала экспонаты его кажутся живыми. Ведь они имеют фамилии, они служат и получают жалованье. Наконец, это члены и кандидаты партии.

Но на деле оказывается, что работа их — только видимость работы, а коммунистичность — призрачна.

И чем больше эти фигуры работают и скандалят, тем больше убеждаются в том, что они мертвы.

Экспонаты самарского музея будут изображены в наиболее типичных для них позах.

Фигура партийного служащего Окрместхоза Юдина предстанет перед нами в ту минуту, когда он явился в зубочечницу на Некрасовской улице и потребовал принять его детей безо всякой очереди.

Коротко говоря, коммунист во что бы то ни стало требовал нарушения порядка.

Получив отказ, он кинулся к жалобной книге и, напирая в записи на свою партийность, требовал снять заведующего с работы. Дикое бурбонство Юдина вызвало среди ожидавших больных возмущение.

Петр Александрович Болонкин, юрисконсульт Союзхлеба, одна из любопытнейших восковых фигур Самары.

На службу фигура является иногда весьма навеселе. Выезжает в область на суд и к разбору дела не является. Дело проваливается, хотя получены суточные, квартирные и прочие сладостные суммы.

Сутяжничество Болонкина непостижимо. Он оспаривает законные иски, защищает незаконные увольнения и вызывает этим лишнюю трату на судебные расходы. Незаконность действий конторы по Самаре и округам всегда защищается Болонкиным.

Е. Е. Морозова работает среди членов правления Коопинсоюза. Грубостью своей вызывает трепет в служащих и инвалидах. Провела неудачное, вызвавшее недовольство инвалидов укрупнение артелей, где дрожжевиков соединили с сапожниками, столяров и плотников с торговцами из комиссионного магазина.

По ее распоряжению в артель был принят председателем неинвалид Пермяков, пьянствовавший неделями и доведший артель имени Галактионова до критического состояния. Только после длительных жалоб инвалидов Пермякова сняли.

В деревнях, где Морозова бывала по командировкам, она оскорбляла крестьян, называла их болванами и мужичьем. Это вызвало жалобу крестьян.

Музей богат. Есть там и Митлер, предместкома СТС по частным предприятиям, ретивый защитник бывших торговцев, спекулянтов и лишенцев. Есть и Аникин, управделами Союзхлеба, зажимающий неугодных ему людей, гонитель рабкоров, злостный нарушитель законов о труде.

Самарские фигуры суетятся, стараются во что бы то ни стало показаться живыми, кому-то нужными, но на деле все эти люди мертвы, бесполезны и лучшее для них место — Музей восковых фигур, рядом с вечно дышащей Клеопатрой и обезьяной, вечно делающей вид, будто она читает газету.

1929

## КООП-ГЕНЕРАЛЫ

Общество транспортных бюрократов под названием: «Мне все равно. Лопайте, что хотите». — Содружество чинуш и лентяев: «А мы просо вытопчем, вытопчем».

Давно пора дать некоторым учреждениям их настоящие имена.

Что, например, значит вот такое название:

«Правление Транспортного Потребительского Общества Казанской жел. дороги».

Ничего за этим названием нет, и само название обманное.

По справедливости это учреждение должно носить такой титул:

«Общество транспортных бюрократов под названием: «Мне все равно. Лопайте, что хотите».

Есть еще на свете и «Раменское общество потребителей». И у этого общества название фальшивое. Ничего оно для потребителей не делает и делать не хочет.

Настоящее название этому обществу должно быть совсем другое:

«Содружество чинуш и лентяев».

В районе Казанской железной дороги, в поселке Прозоровка, строится санаторий Цустреха.

На постройке занято 500 рабочих. Все они сидели без горячей пищи.

Срочно нужно было открыть столовую.

Правление ТПО Казанской дороги открыть столовую отказалось. «Раменское общество потребителей» открыть столовую соглашалось, но просило передать ему всю торговлю на станции Прозоровка. Иначе, мол, будет убыточно.

Тогда стали улаживать кооп-генералов.

— Мы вам помещение под столовую дадим бесплатно.

— А мы все равно отказываемся!

— Освещение и оборудование тоже бесплатно отпустим.

— Нет. Не надо нам. Лишняя столовая, лишние хлопоты.

— И топливо даром дадим.

— А мы все равно столовой не откроем.

Так и продолжался разговор в духе:

— «А мы просо сеяли, сеяли!»

— «А мы просо вытопчем, вытопчем».

Ничем нельзя было смягчить жестокие кооперативные сердца. На указание о том, что нельзя оставить 500 человек рабочих без пищи, последовал обычный возмутительно холодный ответ.

Для укрощения строптивых потребительских организаций пришлось прибегнуть к помощи прокурора Московской губернии.

Долго ратовал прокурор, и долго сидели на сухоедении прозоровские сезонники. Наконец в ход были двинуты последние силы — прокурор заговорил о привлечении виновных к ответственности.

Тогда только ТПО открыло столовую, о чем и сообщило прокурору тов. Шумяцкому в форме довольно наглой.

Суть письма тепеовцев сводилась вот к чему:

а) мы эту столовую открывать обязаны не были,

б) но мы ее открыли, так сказать, в виде личного одолжения. Так что вы имейте в виду. Знайте нашу доброту.

Итак, после всего происшедшего ТПО считает, что открытие рабочей столовой есть с его стороны акт величайшего милосердия, а отнюдь не прямая обязанность.

Если так, то к чему называться «Потребительским обществом»?

Каждое учреждение должно получить свое настоящее название.

Для ТПО Казанской дороги читатели сами быстро найдут его!

1929

### ТРИ С МИНУСОМ

*(Отчет о диспуте «Писатель и политграмота».*

*Состоялся 7.X в Театре Революции)*

Некоторые скептики утверждают, что наши писатели плохо пишут.

Это преувеличено. Пишут они хорошо. А вот говорят действительно неважно. Объясняется это тем, что большинство из них обучались в гимназиях и до сих пор при виде кафедры, к которой их вызывают, испытывают непобедимый страх.

Между прочим, в своем быту писатели очень разговорчивы. Как гимназисты на большой перемене. С жаром и жестикуляцией они набрасываются друг на друга, дергают за пуговицы, кричат об «установках», о целесообразности, о смысле жизни. Но стоит им только собраться в одном месте, усесть за стол под взглядами публики и подчиниться воле диспутного регламента, как гимназический страх вселяется в их робкие души.

— О чем сегодня будет спрашивать Суслин? Ты не знаешь?

— О реках и озерах Южной Америки. Я ничего не выучил.

И вызванный к доске ученик вместо того, чтобы плавно повествовать о реках и озерах Южной Америки, пытается рассказать о флоре и фауне Соломоновых островов (сведения, почерпнутые из Жюль Верна).

На этот раз писателям был задан урок о Пильняке.

— Что будет? — трусливо шептала Вера Инбер. — Я ничего не выучила.

Олеша испуганно писал шпаргалку. Всеволода Иванова грызло сомнение: точно ли река Миссури является притоком реки Миссисипи. Зозуля, согнувшись под партой, лихорадочно перелистывал подстрочники, решебники и темники.

И один только Волин хорошо знал урок. Впрочем, это был первый ученик. И все смотрели на него с завистью.

Он вызвался отвечать первым и бойко говорил целый час. За это время ему удалось произнести все свои фельетоны и статьи, напечатанные им в газетах по поводу антисоветского выступления Пильняка.

На него приятно было смотреть.

Кроме своих собственных сочинений, Волин прочел также несколько цитат из «Красного дерева».

Публика насторожилась. Посыпались записки. Одни требовали ареста Пильняка. Другие просили прочесть «Красное дерево» целиком и полностью, якобы для лучшего ознакомления с проступком писателя. Кроме того, поступила записка с вопросом: «Будут ли распространяться норвежские сельди, поступившие в кооператив № 84, и по какому талону?»

После Волина говорил Зозуля.

Нежным голосом он сообщил, что писатели вообще люди малосведущие и что им нужно учиться, учиться и учиться. При этом Мих. Левидов покраснел. Он, как видно, совсем не знал урока и рассчитывал только на то, что его не вызовут.

Ученику Шкловскому, как всегда, удалось обмануть учителя.

Он все-таки произнес речь о флоре и фауне Соломоновых островов, хотя были заданы реки и озера Южной Америки. Легко обойдя вопрос о Пильняке, Шкловский заявил, что писателю нужна вторая профессия и только тогда он будет хорошим писателем.

На брошенную ему записку ученик Шкловский Виктор не ответил. Записка была гадкого содержания:

«Вторая ваша профессия известна — вы непременно участник диспутов.

Но какая же ваша первая профессия?»

Всеволод Иванов боязливо пробрался к кафедре. Ему мучительно хотелось сказать, что он не оратор, но, вспомнив, что это выражение уже принадлежит Горькому, он совсем растерялся и урока не ответил.

Вера Инбер наполнила зал меланхолическими стонами.

— Вы жалеете птичку? — сказала она тоненьким голоском.

— Жалеем, — хрипло ответили сидевшие в первых рядах контрамарочки.

— А овечку вы жалеете? — допытывалась писательница.

Зал, видимо, жалел овечку.

— Так пожалейте же и писателя, — заключила Вера Инбер. — Ему очень, очень трудно писать!

Так как это не имело никакого отношения к Пильняку, то зал сочувственно похлопал писательнице.

Юрий Олеша читал свою речь по бумажке.

Громовым голосом он опубликовал популярный афоризм о том, что если дать овцам свободу слова, то они все равно будут блеять.

— Пильняк проблеял, — заявил Олеша.

Справедливость этого положения никто не оспаривал.

Левидов осуществил заветную мечту публики. Он не говорил и радовался этому, как дитя.

В общем, писатели отвечали по политграмоте на три с минусом. Но так как пишут они на три с плюсом, то публика была очень довольна, что увидела всех в лицо.

## 1001-я ДЕРЕВНЯ

(«Старое и новое», фильма Совкино.

Работа режиссеров Эйзенштейна и Александрова)

Еще каких-нибудь три года тому назад, в то розовое обольстительное утро, когда Эйзенштейн и Александров в сопровождении ассистентов, экспертов, администраторов, уполномоченных и консультантов выехали на первую съемку «Старого и нового», уже тогда было отлично известно, что нет ничего омерзительнее и пошлее нижеследующих стандартов:

1. Деревенский кулак, толстый, как афишная тумба, человек с отвратительным лицом и недобрыми, явно антисоветскими глазами.

2. Его жена, самая толстая женщина в СССР. Отвратительная морда. Антисоветский взгляд.

3. Его друзья. Толстые рябые негодяи. Выражение лиц контрреволюционное.

4. Его бараны, лошади и козлы. Раскормленные твари с гадкими мордами и фашистскими глазами.

Известно было также, что стандарт положительных персонажей в деревне сводился к такому незамысловатому облику: худое благообразное лицо, что-то вроде апостола Луки, невероятная волосатость и печальный взгляд.

По дороге в деревню, вспоминая о стандартах, киногруппа Эйзенштейна заливалась смехом. Они думали о том, каких пошлых мужичков наснимал бы в деревне режиссер Протазанов, и это их смешило.

— Счастье, что послали нас! — восклицал Эйзенштейн, добродушно хохоча. — Чего бы тут Эгерт наделал! Небось толстого кулака заснял бы!

— И жену его толстую! — поддержал Александров.

— И осла его, и вола его, — закричали ассистенты, консультанты, эксперты, администраторы и хранители большой печати Совкино, — и всякого скота его. Все это толстое, стремящееся к ниспровержению существующего строя.

— Да что тут говорить! — заключил Эйзенштейн. — Пора уже показать стране настоящую деревню!

Об этом своем благом намерении показать настоящую деревню Эйзенштейн оповестил газеты и сам любезно написал множество статей.

И страна, измученная деревенскими киноэксцессами Межрабпомфильма и ВУФКУ, с замиранием сердца принялась ждать работы Эйзенштейна.

Ждать ей пришлось не так уже долго — годика три.

За это время некие торопливые люди успели построить в Туапсе новый город и два гигантских нефтеперегонных завода, Балахнинскую бумажную фабрику, совхоз «Гигант», Турксиб и прочие многоэтажные постройки.

А деревенского фильма все еще не было.

По Москве ходит слух ужасный. Говорят, что каждый год один из руководителей Совкино, обеспокоенный тем, что стоимость фильма все увеличивалась, тревожно спрашивал Эйзенштейна:

— А что будет, если картина провалится?

И ходит также слух, что режиссер неизменно отвечал:

— Ничего не будет. Вас просто снимут с работы.

И, дав такой ответ, режиссер с новым жаром принимался за картину, которая должна была изобразить настоящую деревню.

И вот картина появилась на экране.

Настоящая деревня была показана так:

1. Кулак — афишная тумба с антисоветскими буркалами.

2. Жена — чемпионка толщины с антисоветскими подмышками.

3. Друзья — члены клуба толстяков.

4. Домашний скот — сплошная контра.

И — венец стандарта: деревенская беднота, изображенная в виде грязных идиотов.

Сюжет — на честное слово. Ничего не показано. Всему приходится верить на слово. Дело идет о возникновении колхоза, но как он возникает — не показано. Говорится о классовой борьбе в деревне, но не показано, из-за чего она происходит.

Утверждается, что трактор вещь полезная. Но эйзенштейновские тракторы бегают по экрану без всякого дела, подобно франтам, фланирующим по Петровке.

Кончается картина парадом сотни тракторов, не производящих никакой работы.

Как же случилось, что замечательный режиссер, сделавший картину «Броносец «Потемкин», допустил в своей новой работе такой штамп? Конечно, Эйзенштейн знал, что не все кулаки толстые, что их классовая принадлежность определяется отнюдь не внешностью. Знал он и то, что собрание ультрабородатых людей в одном месте не обязательно должно быть собранием бедноты.

Несомненно, все это сделано намеренно. Картина нарочито гротескна. Штампы чудовищно преувеличены. Этим Эйзенштейн хотел, вероятно, добиться особенной остроты и резкости и обнажить силы, борющиеся в деревне.

Но штамп оказался сильнее режиссеров, ассистентов, декораторов, администраторов, экспертов, уполномоченных и хранителей большой чугунной печати Совкино. Фокус не удался. Картина, на которой остались, конечно, следы когтей мастера, оказалась плохой.

Оправдались самые худшие опасения помянутого выше одного из руководителей Совкино.

Картина провалилась.

Что-то теперь будет с одним из руководителей Совкино?

1929

### АЛМАЗНАЯ ДОЧКА, или ПРИКЛЮЧЕНИЕ ОДНОЙ ГАЗЕТЫ

Отрадно наблюдать, с каким пылом, энергией и добросовестностью борются наши газеты с мещанской литературой. Часто, отрадно часто атакуют наши газеты твердыни пошлости, мещанства и халтуры.

Появляются статьи под самыми строгими заголовками:

«За ушко — да на солнышко».

«Выдернем халтуру с корнем».

«Ударим молотом рабочей критики по беспардонным наскокам омещанившихся писателей».

Или совсем уж просто:

«Еще одна литературная тля».

Все это делается очень зло, а иногда даже жестоко. Но — правильно! Уместно!

Мы не возражаем против этой расправы. Так им и надо. Пусть не пишут ерунды. Делайте с ними, что хотите. Обрывайте им уши, бейте по крепкому темени. Можете даже разрезать пошляков на куски, зашивать в корзины и отправлять малой скоростью куда-нибудь на станцию Попелюхи.

И это, на первый взгляд жестокое, наказание будет только справедливым возмездием.

А теперь приступим к рассмотрению романа, который печатается в «Рабочей газете», газете хорошей и пылко нападающей на мещанскую литературу.

К удивлению читателей, роман этот печатается не под названием «Выдернем халтуру с корнем» и не в виде цитаты, снабженной гневными комментариями редакции.



Называется он «Гарри Тернер» и печатается серьезным образом, как видно, с целью дать читателям «Рабочей газеты» увлекательное, душеспасительное и политически полезное чтение.

Обычно рецензенту самому приходится излагать содержание произведения. Он долго копается в унылых главах и с трудом выволакивает на белый свет основную нить романа.

Но «Рабочая газета» идет навстречу рецензенту — она печатает так называемое «Содержание предыдущего».

Приводим его целиком, во избежание обвинений в «передергивании, выхватывании отдельных фраз и в недобросовестном подходе».

«Содержание предыдущего. Молодой англичанин Тернер, индийский националист Рао и индус Махаду кочуют по Индии. Алисе, дочери алмазного короля Джонса, понравился Тернер, и она присоединяется к путникам. Тернера обвинили в похищении Алисы. Сыщику Пичу удастся арестовать Тернера и заключить его в башню».

В напечатанной под «Содержанием предыдущего» коротенькой (100 строк) главке имеется превосходный набор литературных отмычек:

Утопленник, Питер, Браун, Ричардс, Джекс, мертвец Уэльч, скальпель, веревка, пузырек с хлороформом, укротитель зверей в цирке; сейф, секретные документы, заброшенная шахта, Чарльз Эванс, могила, труп, кладбище, Эмми. Южная Америка, тайна, Мери и — «убить этого негодяя».

Мы уверены в том, что Алиса в конце концов отмежуетя от своего алмазного папы-короля и вросет хотя бы в индийский национализм.

А может быть, Алиса погибнет. И молодой англичанин Тернер, освобожденный от женских пут, сам пойдет по столбовой дорожке, ведущей к освобождению Индии из-под пяты британского суперимпериализма, рука об руку с националистом Рао и индусом Махаду.

Неясна роль сыщика Пича. Вернее всего, это юмористический персонаж. Но он со своей башней останется в дураках. Мы в этом уверены. Он всегда оставался в дураках, бедняга Пич. С ним было так по крайней мере в 12 тысячах псевдосоветских, густо вымазанных красной помадой романах.

Ах, как хорошо, если бы за «предыдущим» не было бы уже никакого «последующего».

Тогда «Рабочая газета» могла бы начать действительную борьбу с литературным мешанством и штампованными Алисами, дочками американских королей.

1929

## ПРИЗРАК-ЛЮБИТЕЛЬ

В акционерном обществе «Насосы» создалось напряженное положение. Говорили только о чистке, рассказывали пугающие истории из практики бывших ранее чисток и вообще волновались свыше меры.

Незаметно насосовцы перешли на страшные рассказы. Инструктор из отдела поршней, товарищ Быдто-Стерегающий, поведал обществу грустный случай. Ему, Быдто-Стерегающему, в молодости явился призрак покойного деда. Призрак размахивал руками и призывал на племянника кары небесные.

Быдто-Стерегающего осмеяли, и он сознался, что призрак этот явился, собственно говоря, не ему лично, а одному очень хорошему знакомому, которому верить можно безусловно. Все же разговор о выходах с того света продолжался. Все насосовцы оказались сознательными и с презрением отметали даже самую мысль о возможности явления призраков в наше трезвое материалистическое время.

Заклейменный всеми, Быдто-Стерегающий отмежевался от своего рассказа и уже собирался было удалиться в свой отдел поршней, когда внезапно заговорил Культуртригер, старый работник отдела шлангов.

— Легко сказать, — заметил он, — а призрак такая вещь, что душу леденит.

— Стыдно, товарищ Культуртригер! — закричали все. — Стыдно и глупо верить в привидения.

— Да, если бы мне в руки попался призрак, — сказал товарищ Галерейский, — уж я бы ему...

И Галерейский самодовольно улыбнулся.

— Чудес на свете нет, — сказали два брата, работавшие в обществе «Насосы» под разными фамилиями — Лев Рубашкин и Ян Скамейкин. — Чудес на свете нет, а гением творения их является человек.

— Материалистам призрак нипочем, — подтвердил Галерейский. — Тем более мне как марксисту.

— Может быть, — тихо сказал дряхлый Культуртригер. — Все может быть. На свете много загадочного и непостижимого.

— Высадят вас на чистке по второй категории, тогда будете знать, как мистику разводить при исполнении служебных обязанностей, — сказал Лев Рубашкин.

— Гнать таких стариков надо, — поддержал Ян Скамейкин, поглядывая на своего брата Рубашкина.

На этом разговор кончился.

На другой день в акционерном обществе «Насосы» появилось привидение. Оно вышло из уборной и медленным шагом двинулось по длинному темному коридору.

Это было обыкновенное, пошленькое привидение во всем белом, с косой в правой руке. Привидение явно шло вровень с веком, потому что в левой руке держало вместо песочных часов новенький будильник.

Спугнув проходившую машинистку, которая с визгом умчалась, привидение вошло в кабинет товарища Галерейского.

— Вам чего, товарищ? — спросил Галерейский, не поднимая головы.

Привидение заворчал. Галерейский глянул и обомлел.

— Кто? Что? — завопил он, опрокинув стул и прижавшись к стене.

Привидение взмахнуло косой, словно собираясь в корне подсесть молодую жизнь своей жертвы. Галерейский не стал терять ни минуты. Он бросился к конторскому шкафу, всхлипывая, вполз туда и заперся на ключ. Призрак нагло постучал в дверцу шкафа, после чего изнутри донесся истерический крик.

— Тоже, материалист! — забоченно сказала привидение, переходя в слабую комнату, где сидел ничего не подозревавший Быдто-Стерегущий.

Стерегущий сразу упал, как сбитая шаром кегля, громко стукнувшись головой об пол. Привидение с презрением пихнуло его ногой и, тихо смеясь, вышло в коридор.

В отделе шлангов Лев Рубашкин и Ян Скамейкин невинно развлекались игрою в шашки.

— У-лю-лю! — негромко сказала привидение, вваливаясь в отдел, треща будильником и как бы подчеркивая этим, что дни братьев сочтены.

— Мама! — сказал Лев Рубашкин шепотом и выпрыгнул в окно.

Ян Скамейкин ничего не сказал. Он свалился под стол, лязгая зубами, как собака.

Дальнейшая работа привидения дала поразительные результаты.

Из шестидесяти насосовцев:

Испытали ужас — тридцать шесть.

Упали в обморок — восемь.

Заболели нервным тиком — девять.

Остальные отделались легким испугом. Галерейский совершенно поседел, Быдто-Стерегущий взял бюллетень, Рубашкин при падении со второго этажа вывихнул руку, а Скамейкин помешался в уме и целую неделю после этого на всех бумагах ставил подпись вверх ногами.

На чистке все сидели молча и слушали биографию Галерейского.

— Все это хорошо, — сказал с места старый Культуртригер. — Но какой же товарищ Галерейский материалист, ежели он привидения убоится? Гнать таких надо по второй категории. И даже по первой. Какой же он, товарищи, марксист?

— Это клевета! — закричал Галерейский.

— А кто в шкафу прятался? — ехидно спросил Культуртригер. — Кто поседел от страха? У меня про всех записано.

Старик вынул записную книжку и стал читать.

— Вел себя также недостойно материалиста Лев Рубашкин, каковой при виде призрака выпрыгнул в окно. А еще считается общественным работником. А равно и товарищ Скамейкин. Ноги мне целовал от ужаса. У меня все записано.

Культуртригер схватил председателя комиссии за рукав и, брызгая слюной, стал быстро изобличать насосовцев в мистике.

1929

### БЛЕДНОЕ ДИТЯ ВЕКА

Поэт Андрей Бездетный, по паспорту значившийся гражданином Иваном Николаевичем Ошейниковым, самым счастливым месяцем в году считал ноябрь.

Происходило так не потому, что Андрей Бездетный родился именно в этом месяце и верил в свою счастливую звезду. А также не потому, что эта пора, богатая туманами и дождями, подносила ему на своих мокрых ладонях дары вдохновения.

Андрей Бездетный просто был нехорошим человеком и уважал даже не весь ноябрь, а только седьмое его число. К этому дню он готовился с лета.

— Богатое число, — говаривал Бездетный.

В этот день даже «Эмиссионно-балансовая газета», обычно испещренная цифрами и финансовыми прогнозами, даже она печатала стихи.

Спрос на стихи и другие литературные злаки ко дню Октябрьской годовщины бывал настолько велик, что покупался любой товар, лишь бы подходил к торжественной теме. И нехороший человек Андрей Бездетный пользовался всюю. В этот день на литбирже играли на повышение:

«Отмечается усиленный спрос на эпос. С романтикой весьма крепко. Рифмы «заря — Октября» вместо двугривенного идут по полтора рубля. С лирикой слабо».

Но Бездетный лирикой не торговал.

Итак, с июля месяца он мастерил эпос, романтику и другие литературные завитушки.

И в один октябрьский день Андрей вышел на улицу, сгибаясь, как почталъон, под тяжестью ста шестидесяти юбилейных опусов. Накануне он подбил итоги. Выяснилось, что редакций десять все-таки останутся без товара.

Нагруженное октябрьскими поэмами, кантатами, одами, поздравительными эпиграммами, стихотворными пожеланиями, хоралами, псалмами и тропарями, бледное дитя века вошло в редакцию, первую по составленному им списку, редакцию детского журнала под названием «Отроческие ведомости». Не теряя времени, поэт проник в кабинет редакторши и, смахнув со стола выкройку распашонка и слюнявок, громким голосом прочел:

Ты хотя и не мужчина,  
А совсем еще дитя,  
Но узнаешь годовщину,  
Все по пальцам перечтя.

Пальцев пять да пальцев пять  
Ты сумеешь сосчитать,  
К вам прибавить только три —  
Годовщину ты сочти.

— Ничего себе приемчик? — похвально Андрей. — Заметьте, кроме общей торжественности, здесь еще и арифметика в стихах.

Редакторше стихок понравился. Понравился он также заведующей отделом «Хороводов и разговоров у костра». И уже с громом открывалась касса, когда редакторша застенчиво сказала:

— Мне кажется, товарищ Бездетный, что тут какая-то ошибка. Пять да пять действительно десять. И если к десяти прибавить, как вы сами пишете, «только три», то получится тринадцать. А ведь теперь не тринадцатая годовщина Октября, а только двенадцатая.

Андрей Бездетный зашатался. Ему показалось, что его коленные чашечки наполнились горячей водой. Ведь все сто шестьдесят юбилейных тропарей были построены на цифре тринадцать.

— Как двенадцатая? — сказал он хрипло. — В прошлом году была двенадцатая!

— В прошлом году была одиннадцатая годовщина, — наставительно сказала заведующая отделом «Хороводов». — Вы же сами в прошлом году печатали у нас такой стих:

Пальцев три и пальцев семь —  
Десять пальцев будет всем,  
К ним прибавь всего один —  
Все узнаешь ты, мой сын.

— Да, — сказал Бездетный, ужаленный фактом в самое сердце.

И касса с грохотом закрылась перед его затуманившимися очами.

Всю ночь Андрей, бледное дитя века, просидел за своим рабочим столом. Сто шестьдесят опусов лежали перед ним.

— Как же, — бормотал Андрей, — как же так случилось? Что же теперь будет?

Положение было действительно ужасное.

Девяносто пять произведений трактовали о буржуах, для которых тринадцатая годовщина является поистине чертовой дюжиной. В остальных шестидесяти пяти хоралах Андрей Бездетный высмеивал вредителей и эмигрантов, упирая на то, что цифра тринадцать, как число несчастливое, несет им гибель.

Путь к переделкам был отрезан. Приемчик погиб. Для сочинения новых поздравлений не хватило бы времени.

Только одно новое стихотворение удалось ему написать. Там говорилось о двенадцатом часе революции, который пробил. Это было все, что могла изобрести его жалкая фантазия.

И Андрей Бездетный, подобно чеховскому чиновнику, лег на клеенчатый диван и умер. Поспешив со стихами на целый год вперед, он своей смертью все-таки опоздал на несколько лет. Ему следовало бы умереть между пятой и шестой годовщинами.

1929

## ДУША ВОН

Вечером на прохладной улице один гражданин бьет другого гражданина.

Гражданин, которого бьют, недоволен.

— Убивают! — кричит он, растерянно поглядывая по сторонам.

Гражданин, который бьет, тоже недоволен.

— Что ж ты кричишь? — спрашивает он, нанося последующие удары. —

Не кричи, а то душу выну.

Второй гражданин, оказавшийся в затруднительном положении (будет кричать — убьют, не будет кричать — тоже убьют), подымает отчаянный визг.

Собирается большая, меланхоличная толпа и молча смотрит.

— Спасите! — надывается жертва.

Толпа безмолвствует.

Ободренный общим молчанием, хулиган приводит в исполнение свою угрозу — начинает вынимать из «другого гражданина» душу.

Душа покидает свое место со стенами и криками.

— Что ж вы стоите, черти! — верещит душа. — Не видите, человека убивают?!

Толпа отлично видит.

Но на всякий случай молчит.

— Зачем впутываться не в свое дело! — бормочут в толпе.

Процесс вынимания души длится до прихода милиционера.

Тут толпа проявляет необыкновенное оживление. Все разбегаются. Не то еще в свидетели возьмут.

Из милиции хулигана отпускают через полчаса. Свидетелей нет. И кто кого бил, понять невозможно.

На другой вечер хулиган ловкими движениями вынимает душу из следующего гражданина.

Вечером в прохладном помещении клуба идет заседание по чистке большого финансового учреждения. Один товарищ, стоящий перед столом, забивает баки другому товарищу, сидящему за столом.

Товарищ, которому забивают баки, недоволен.

— То, что вы отмежевались от своих родителей, мне известно, — говорит он, — и это не так важно. Расскажите нам, как вы работаете!

Товарищ, который забивает баки, тоже недоволен.

— Так вот и работаю, — говорит он обиженно, — работаю, можно сказать, не покладая рук, как полагается!

— Все это общие фразы, — морщится товарищ за столом. — Вы введите нас в курс своей работы.

Большая меланхоличная толпа сидит на скамьях и молчит.

— Кто хочет высказаться, товарищи?

Толпа безмолвствует.

Ободренный общим молчанием, первый товарищ начинает выматывать душу у председателя. Он уныло бубнит о своих общественных заслугах: организация кружка мандолинистов и одна стенгазетовская заметка «Почему чай подается без сахара?».

— Что же вы молчите, товарищи? — кричит председатель, обращаясь к толпе. — Разве вы не знаете, что это бюрократ?

Толпа отлично знает.

Но молчит. На всякий случай.

— Зачем впутываться не в свои дела! — бормочут на задних скамьях.

Мало-помалу все расходятся.

Бюрократ остается на службе.

И на следующее утро он лениво глотает чай, умышленно не глядя за перегородку, где уже полтора часа топчутся растерянные посетители.

1929

## ПОД ЗНАКОМ РЫБ И МЕРКУРИЯ

Иван Антонович Филиппиков, сотрудник Палаты мер и весов, очень любил свое учреждение. Он хотел бы даже, чтобы Палате принадлежала высшая власть в стране. Уж очень ему нравилась Палата, существующий в ней поря-

док, блестящие цилиндрические гири, метры и литры, одним видом говорящие о точности и аккуратности.

В таких приятных мыслях гражданин Филиппиков прогуливался однажды по городу.

Подойдя к оживленному перекрестку, Иван Антонович увидел плакат:

ПЕРЕХОДЯ УЛИЦУ,  
ОГЛЯНИСЬ ПО СТОРОНАМ

Для пушей внушительности на плакате был изображен милиционер с улыбкой манекена и с красной палкой в руке.

Иван Антонович добросовестно кинул взгляд на запад. Потом глянул на восток. Потом покосился на юг и, наконец, повернулся к северу. И на севере, у магазина наглядных пособий, где веселые скелеты обменивались дружественными рукопожатиями, он увидел мальчика, на плече которого сидел попугай.

— Грязждане, — скучным голосом говорил мальчик, — американский попугай-прорицатель Гаврюшка докладает тайны прошедшего, настоящего и будущего. Пакет со счастьем — десять копеек!

Попугай-прорицатель строго смотрел на Филиппикова.

«Разве в виде шутки попробовать!» — сказал себе Иван Антонович.

И уже через минуту вестник счастья с ворчаньем вручил ему розовый конверт.

Иван Антонович надел очки и вынул из конверта предсказание своей судьбы.

«Вы родились, — прочел он, — под знаком Рыб и Меркурия. Вы испытали много превратностей, но не теряйте мужества. Судьба вам будет благоприятствовать. Скоро вы получите приятное известие. Счастье и выгоды в изобилии выпадут на вашу долю. Вы получите большие имения, которые вам будут приносить большие доходы. Оракул предвещает вам, что ваша жизнь будет цепью счастливых дней».

— Оракул! — с удовольствием произнес Филиппиков. — Оракул! Моя жизнь будет цепью счастливых дней. Скоро я получу приятное известие.

Лучезарно улыбаясь, Иван Антонович поглядел на витрину магазина наглядных пособий, где рядами возлежали лошадиные черепа, и поплелся домой.

— Слышишь, Агния, — сказал он жене, — наша жизнь будет цепью счастливых дней.

— Почему цепью? — испуганно спросила жена.

— Да вот оракул сказал, Агнесса.

И гражданин Филиппиков, член многих добровольных обществ, передал своей жене, гражданке Филиппиковой, пакет со счастьем.

Агнессу ничуть не смутило то, что ее дорогой муж родился под знаком Рыб и Меркурия. Она любила Ивана Антоновича и никогда не сомневалась в том, что он родился именно под этими знаками.

Но с практичностью домашней хозяйки она обратила все свое внимание на фразу, сулящую непосредственные реальные блага.

«Вы получите большие имения, которые принесут вам большие доходы».

— Вот хорошо, — сказала Агния. — Большие имения! Большие доходы! Как приятно!

До самого вечера Иван Антонович почему-то чувствовал себя скверно, а за ужином не вытерпел и сказал жене:

— Знаешь, Агнесса, мне не нравится... то есть не то чтоб не нравится, а как-то странно. Какие же могут быть теперь имения, а тем более доходы с них? Ведь время-то теперь советское.

— Что ты, — сказала жена. — Я уже забыть успела, а ты все про своего оракула.

Однако ночь Филиппиков провел дурно. Он часто вставал, пил воду и смотрел на розовый листок с предсказанием. Нет, все было в порядке, по новой орфографии. Листок, несомненно, был отпечатан в советское время.

— Какое же имя? — бормотал он. — Совхоз, может быть? Но за доходы с совхоза мне не поздоровится. Хороша же будет эта цепь счастливых дней, нечего сказать.

А под утро приснился Ивану Антоновичу страшный сон. Он сидел в полосатом архалуке и дворянской фуражке на веранде помещичьего дома. Сидел и знал, что его с минуты на минуту должны сжечь мужики. Уже розовым огнем полыхали псарня и птичий двор, когда Филиппиков проснулся.

На службе, в Палате мер и весов, Иван Антонович чувствовал себя ужасно, не подымал головы от бумаг и ни с кем не беседовал.

Прошло две недели, прежде чем Филиппиков оправился от потрясения, вызванного предсказанием попугая Гаврюшки.

Так радикально изменилось представление о счастье. То, что в 1913 году казалось верхом благополучия (большие имения, большие доходы), теперь представляется ужасным (помещик, рантье).

Оракул, несмотря на свою новую орфографию, безбожно отстал от века и зря только пугает мирных советских граждан.

1929

## ВЕЛИКИЙ ЛАГЕРЬ ДРАМАТУРГОВ

И он присоединился к великому лагерю драматургов, разбивших свои палатки на мостовой проезда имени Художественного театра.

*«Летопись Всероскомдрама»*

Число заявок на золотоносные драматические участки увеличивается с каждым днем. Это можно легко увидеть, прочитав газетные театральные отделы.

«Пахом Глыба закончил для одного из московских театров новую пьесу, трактующую борьбу с бюрократизмом в разрезе борьбы с волокитой».

«Вера Пиджакова работает над пьесой «Легкая кавалерия». Пьеса вскоре будет закончена и передана в портфель одного из московских театров».

«М. И. Чтоли переделал для сцены исторический роман «Овес». Пьеса в ближайшем будущем пойдет в одном из московских театров».

Пойдет ли?

Он ли?

Сколько лет мы читаем о новых пьесах Пахома Глыбы, Веры Пиджаковой и М. Чтоли. Мы узнаем, что пьесы эти закончены, отделаны, переработаны и приняты. Но где этот «один из московских театров», где «Легкая кавалерия», где историческое действие «Овес», с каких подмостков раздаются страстные диалоги, вырвавшиеся из-под пера т. Глыбы?

Нет таких подмостков, нет «одного из московских театров», ничего этого нет.

Есть великий лагерь драматургов, которые разбили свои палатки у подъездов больших и малых московских театров. И в этом лагере еще больше неудачников, чем в любом лагере золотоискателей на берегах Юкона в Аляске.

Под драматургом мы подразумеваем всякого человека, написавшего сочинение, уснащенное ремарками: «входит», «уходит», «смеется», «застреливается».

Первичным видом драматурга является гражданин, никогда не писавший пьес, чувствующий отвращение к театру и литературе. На путь драматурга его толкают тяжелые удары судьбы.



После длительного разговора с женой гражданин убеждается, что жить на жалованье трудно. А тут еще надо внести большой пай в жилстроительную кооперацию.

— Не красть же, черт возьми!

И гражданин, прослышавший от знакомых, что теперь за пьесы много платят, не теряет ни минуты и в два вечера сочиняет пятиактную пьесу. (Он, собственно говоря, задумал пьесу в четырех действиях, но, выяснив в последний момент, что авторские уплачиваются поактно, приписал пятое.)

Заломив шляпу и весело посвистывая, первичный вид драматурга спускается вниз по Тверской, сворачивает в проезд Художественного театра и в ужасе останавливается.

Там, у входа в театр, живописно раскинулись палатки драматургов. Слышен скрип перьев и хриплые голоса.

— Заявки сделаны! Свободных участков нет!

Те же печальные картины наблюдает новый драматург и у прочих театров. И уже готов первичный вид драматурга завопить, что его затирают, как вдруг, и совершенно неожиданно для автора, выясняется, что пьеса его никуда не годится. Об этом ему сообщает знакомый из балетного молодняка.

— С ума вы сошли! — говорит знакомый. — Ваша пьеса в чтении занимает двое суток. Кроме того, в третьем акте у вас участвуют души умерших. Бросьте все это!

Все драматурги второго, более живучего вида находятся под влиянием легенды о некоем портном, который будто бы сказал:

— Когда-то я перешивал одному графу пиджак. Граф носил этот пиджак четырнадцать лет и оставил его в наследство сыну, тоже графу. И пиджак все еще был как новый.

Драматурги второго рода перелицовывают литературные пиджаки, надеясь, что они станут как новые.

В пьесы перedelываются романы, повести, стихи, фельетоны и даже газетные объявления.

Как всегда, карманчик перелицованного пиджака с левой стороны перекачывает на правую. Все смущены, но стараются этого не замечать и притворяются, будто пиджак совсем новый. Переделки все же держатся на сцене недолго.

Третий, самый законченный вид драматурга — драматург признанный. В его квартире висят театральные афиши и пахнет супом. Это запах лавровых венков.

Не успевает он написать и трех явлений, как раздаются ластивые телефонные звонки.

— Да, — говорит признанный драматург, — сегодня вечером заканчиваю. Трагедия! Почему же нет? А Шекспир? Вы думаете разработать ее в плане монументального неореализма? Очень хорошо. Да, пьеса за вами. Только о пьесе ни гугу.

— Да, — говорит драматург через пять минут, отвечая режиссеру другого театра, — откуда вы узнали? Да, пишу, скоро кончаю. Трагедия! Конечно, она за вами. Только не говорите никому. Вы поставите ее в плане показа живого человека? Это как раз то, о чем я мечтаю. Ну, очень хорошо!

Обещав ненаписанную пьесу восьми театрам, плутоватый драматург садится за стол и пишет с такой медлительностью, что восемь режиссеров приходят в бешенство.

Они блуждают по улице, где живет драматург, подсылают к нему знакомых и звонят по телефону.

— Да, — неизменно отвечает драматург, — моя пьеса за вами. Не беспокойтесь, будет готова к открытию. Да, да, в плане трагедии индивидуальности с выпячиванием линии героини.

Но вот наступает день расплаты. Рассадив режиссеров по разным комнатам и страшаясь мысли, что они могут встретиться, автор блудливо улыбается и убегает в девятый театр, которому и отдает свою трагедию для постановки в плане монументального показа живого человека с выпячиванием психологии второстепенных действующих лиц.

Признанного драматурга не бьют только потому, что избиение преследуется законом.

В таком плане и проходит вся жизнь юконских старателей.

1929

## АВКСЕНТИЙ ФИЛОСОПУЛО

Необъяснима была энергия, с которой ответственный работник товарищ Филосопуло посещал многочисленные заседания, совещания, летучие собеседования и прочие виды групповых работ.

Ежедневно не менее десяти раз перебегал Филосопуло с одного заседания на другое с торопливостью стрелка, делающего перебежку под неприятельским огнем.

— Лечу, лечу, — бормотал он, вскакивая на подножку автобуса и рукой посылая знакомому воздушное «пока».

— Лечу! Дела! Заседание! Сверхсрочное!

«Побольше бы нам таких! — радостно думал знакомый. — Таких бодрых, смелых и юных душой!»

И действительно, Филосопуло был юн душой, хотя и несколько тучен телом. Живот у него был, как ядро, вроде тех ядер, какими севастопольские комендоры палили по англо-французским ложементам в Крымскую кампанию. Было совершенно непостижимо, как он умудряется всюду поспевать. Он даже ездил на заседания в ближайшие уездные города.

Но как это ни печально, весь его заседательский пыл объяснялся самым прозаическим образом. Авксентий Пантелеевич Филосопуло ходил на заседания, чтобы покушать. Покушать за счет учреждений.

— Что? Началось уже? — спрашивал он курьера, взбегая по лестнице. — А-а! Очень хорошо!

Он протискивался в зал заседания, где уже за темно-зеленой экзаменационной скатертью виднелись бледные от табака лица заседающих.

— Привет! Привет! — говорил он, хватая со стола бутерброд с красной икрой. — Прекрасно! Вполне согласен. Поддерживаю предложение Ивана Семеновича.

Он пережевывал еду, вытаращив глаза и порывисто двигая моржовыми усами.

— Что? — кричал он, разинув пасть, из которой сыпались крошки пирожного. — Что? Мое мнение? Вполне поддерживаю.

Наевшись до одурения и выпив восемь стаканов чая, он сладко дремал. Длительная практика научила его спать так, что храп и присвист казались окружающим словами: «Верно! Хр-р... Поддерживаю! Хр-р... Пр-р-равильно! Хр-р... Иван Семеныча... Хр-р-кх-х-х...»

Неожиданно разбуженный громкими голосами спорящих, Филосопуло раскрывал блестящие черные глаза, выхватывал из жилета карманные часы и испуганно говорил:

— Лечу! Лечу! У меня в пять комиссия по выявлению остатков. Уж вы тут без меня дозаседайте! Привет!

И Авксентий Пантелеевич устремлялся в комиссию по выявлению. Он очень любил эту комиссию, потому что там подавали бутерброды с печеночной колбасой.

Управившись с колбасой и вполне оценив ее печеночные достоинства, Авксентий под прикрытием зонтика перебежал в Утильоснову и с жадностью голодающего принимался за шпроты, которыми благодущные утильосновцы обильно уснащали свои длительные заседания.

Он тонко разбирался в хозяйственных вопросах. На некоторые заседания, где его присутствие было необходимо, он вовсе не ходил. Там давали пустой чай, к тому же без сахара. На другие же, напротив, старался попасть, набивался на приглашение и интриговал. Там, по его сведениям, хорошо кормили. Вечером он делился с женой итогами трудового дня.

— Представь себе, дружок, в директорате большие перемены.

— Председателя сняли? — лениво спрашивала жена.

— Да нет! — досадовал Филосопуло. — Пирожных больше не дают! Сегодня давали бисквиты «Делегатка». Я съел четырнадцать.

— А в этом вашем, в синдикате, — из вежливости интересовалась жена, — все еще пирожки?

— Пирожки! — радостно трубил Авксентий. — Опоздал сегодня. Половину расхватали, черти. Однако штук шесть я успел.

И удовлетворенный трудовым своим днем, Филосопуло засыпал. И молодецкий храп его по сочетанию звуков походил на скучную служебную фразу: «Выслушав предыдущего оратора, я не могу не отметить...»

Недавно с Авксентием Пантелевичем стряслось большое несчастье.

Ворвавшись на заседание комиссии по улучшению качества продукции, Филосопуло сел в уголок и сразу же увидел большое аппетитное кольцо так называемой краковской колбасы. Рядом почему-то лежали сплюснутая гайка, кривой гвоздь, полуистлевшая катушка ниток и пузырчатое ярко-зеленое ламповое стекло. Но Филосопуло не обратил на это внимания.

— Поддерживаю, — сказал Авксентий, вынимая из кармана перочинный ножик.

Пока говорил докладчик, Филосопуло успел справиться с колбасой.

— И что же мы видим, товарищи! — воскликнул оратор. — По линии колбасы у нас не всегда благополучно. Не все, не все, товарищи, благополучно. Возьмем, к примеру, эту совершенно гнилую колбасу. Колбасу, товарищи... Где-то тут была колбаса...

Все посмотрели на край стола, но вместо колбасного кольца там лежал только жалкий веревочный хвостик.

Прежде чем успели выяснить, куда девалась колбаса, Филосопуло задержался и захрипел.

На этот раз его храп отнюдь не походил на обычное «согласен, поддерживаю», а скорее на «караул! доктора!».

Но спасти Филосопуло не удалось.

Авксентий в тот же день умер в страшных мучениях.

1929

### ПРАВЕДНИКИ И МУЧЕНИКИ

(«Обломки империи» — фильм режиссера Эрмлера.

«Турксиб» — фильм режиссера Турина)

Это компания праведников, страстотерпцев, мучеников. Одним словом, это были кинорежиссеры. Их было много, человек десять. Они попивали чай и, горько улыбаясь, говорили о судьбах советского кино.

— Ужас! Ужас! — воскликнул маленький и толстый режиссер. — Что им нужно? Чего от нас хотят? И чего требуют?

— От нас требуют советскую картину.

— Но ведь я все время ставлю картины с идеологией, — завизжал толстяк. — Кто поставил картину «Грешники монастыря»? Я. Абсолютно советская картина, а они говорят, что порнография.

— Да, — сумрачно заявил режиссер с вытаращенными глазами. — Порнографии теперь нельзя.

— Вот и скучища выходит, — закричал кинотолстяк. — Какая же это картина без порнографии?

Но не было ответа на этот вопрос. Молчали киноправедники, киномученики, кинострастотерпцы.

— Тяжело! — сказал режиссер с боярской бородой. — Порнография воспрещается, а мистика разве не воспрещается?

— И мистики нельзя.

— Какой кошмар!

— Фокстрота нельзя.

— А детектив разве позволяют?

— И детектива нельзя.

— Просто бедлам.

— До чего докатились!

— Докатились до того, что даже честного комсомольского поцелуя в диафрагму нельзя.

— За поцелуйчик в диафрагму месяца два в газетах шельмуют.

— И тайны минаретов не дозволяются.

— С отчаяния стряпаешь злой агит, но и тут общее недовольство. Говорят — примитив. Невыразительно.

— Умереть хочется. Лечь и умереть. Как Петроний умер.

— Кстати о Петронии. Намедни я фильмик поставил. Из римской жизни. Мистики нет, порнографии нет, фокстрота нет, поцелуя в диафрагму нет. Ничего нет, сплошная история, граничащая с натурализмом, — у меня Нерон на пиру блюет. И что же? Нельзя! Говорят, убого. Это что же? Исторических фильмов уже нельзя? До сердца добираются? За горло хватают?

Говоривший это седовласый халтурщик в изнеможении опустился на плюшевый диван.

— И разлагающейся Европы тоже нельзя, — добавил молодой человек, как видно, подающий надежды ассистент.

На молодого человека все набросились.

— Открыли Америку. Если б нам разрешили разлагающуюся Европу! О-о-о!

Наговорившись вдоволь, режиссеры разошлись по своим шатрам. Для них все было ясно.

— Конечно. Загубили кинематографию. Амба. Работать невозможно.

Но оказалось, что нет никаких признаков амбы.

В двух последних картинах «Турксиб» и «Обломок империи» нет ни мистики, ни порнографии, ни разлагающейся Европы, ни тайн минаретов, ни блюющих цезарей, ни длиннометражных поцелуев в диафрагму, ни всего того, что компания киноправедников считает элементами, придающими фильму интерес.

И если сказать постановщикам бесконечного числа хламных картин, что именно поэтому и хороши «Турксиб» и «Обломок империи», то они никогда не поверят.

В самом деле: вместо наложницы хана главную роль в «Турксибе» играют рельсы.

Изящного молодого человека с профилем Рамон Наварро в «Обломке империи» заменяет давно небритый унтер-офицер Филимонов.

Здесь есть то, о чем забыли праведники и мученики. Здесь талант, настоящая тема и обыкновенная политическая грамотность.

И на вопли кинорежиссеров, на скорбные вопросы «что же, наконец, требуется», ответ есть только один:

— Талантливость и умение не отставать от века.

1929

## МОСКОВСКИЕ АССАМБЛЕИ

— Пей, собака!

— Пей до дна, пей до дна! — подхватил хор.

Раздались звуки цевниц и сопелей.

Граф Остен-Бакен уже лежал под столом.

(Гуго Глазиус, «История Руси»)

В тот вечерний час, когда в разных концах Москвы запевают граммофоны-микифоны, на улицах появляются граждане, которых не увидишь в другое время.

Вот идет тощий юноша в лаковых штиблетах. Это не баритон, не тенор и даже не исполнитель цыганских романсов. Он не принадлежит к той категории трудящихся (рабис, рабис, это ты!), коим даже в эпоху реконструкции полагается носить лаковую обувь.

Это обыкновенный гражданин, направляющийся на вечеринку. Третьего дня вечеринка была у него, вчера у товарища Бляялкина, а сейчас он идет на ассамблею к сослуживцу Думалкину. Есть еще товарищ Вздох-Тушуйский. У него будут пировать завтра.

У всех — Думалкина, Бляялкина, Вздох-Тушуйского и у самого лакового юноши Маркова — есть жены. Это мадам Думалкина, мадам Бляялкина, мадам Вздох и мадам Маркова.

И все пируют.

Пируют с такой ошеломляющей дремучей тоской, с какою служат в различных конторах, кустах и объединениях.

Уже давно они ходят друг к другу на ассамблеи, года три. Они смутно понимают, что пора бы уже бросить хождение по ассамблеям, но не в силах расстаться с этой вредной привычкой.

Все известно заранее.

Известно, что у Бляялкиных всегда прокисший салат, но удачный паштет из воловьей печени. У пьяницы Думалкина хороши водки, но все остальное никуда. Известно, что скупые Вздохи, основываясь на том, что пора уже жить по-европейски, не дают ужина и ограничиваются светлым чаем с бисквитами «Баррикада». Также известно, что Марковы придут с граммофонными пластинками, и известно даже, с какими. Там будет вальс-бостон «Нас двое в бунгало», чарльстон «У моей девочки есть одна маленькая штучка» и старый немецкий фокстрот «Их фаре мит майнер Клара ин ди Сахара», что, как видно, значит: «Я уезжаю с моей Klarой в одну Сахару».

Надо заметить, что дамы ненавидят друг друга волчьей ненавистью и не скрывают этого.

Пока мужчины под звуки «Нас двое в бунгало, и больше никого нам не надо» выпивают и тревожат вилками зеленую селедку, жены с изуродованными от злости лицами сидят в разных углах, как совы днем.

— Почему же никто не танцует? — удивляется пьяница Думалкин. — Где пиршественные клики? Где энтузиазм?

Но так как кликов нет, Думалкин хватается за плечи и начинает танец.

На танцующую пару все смотрят с каменными улыбками.

— Скоро на дачу пора! — говорит Марков, подумав.

Все соглашаются, что действительно пора, хотя точно знают, что до отъезда на дачу еще осталось месяцев пять.

К концу вечера обычно затевается разговор на политические темы. И, как всегда, настроение портит Вздох-Тушуйский.

— Слышали, господа, — говорит он, — через два месяца денег не будет.

— У кого не будет?

— Ни у кого. Вообще никаких денег не будет. Отменяют деньги.

— А как же жить?

— Да уж как хотите, — легкомысленно говорит Вздох. — Ну, пойдем, Римма. До свиданья, господа.

— Куда же вы? — говорит испуганная хозяйка. — Как же насчет денег?

— Не знаю, не знаю! В Госплане спросите. Наобедаетесь тогда на фабрике-кухне. Значит, завтра я вас жду. Марковы принесут пластиночки — потанцуем, повеселимся.

После ухода Вздохов водворяется неприятная тишина. Все с ужасом думают о тех близких временах, когда отменяют деньги и придется обедать на фабрике-кухне.

Так пируют они по четыре раза в неделю, искренне удивляясь:

— Почему с каждым разом ассамблеи становятся все скучнее и скучнее?

1929

### ТЕАТР НА УЛИЦЕ

Это исследование нами предпринято для того, чтобы осветить тот участок театра, насчет которого не распинаятся критики, не говорят пламенных речей на заседаниях Главискусства, который не рекламируется в газетах, не дает дефицита, но тем не менее имеет контрамарочников.

Кто из вас, граждане, не присутствовал задарма на уличных спектаклях? Этот театр содержит в себе все виды сценического искусства.

Улица оглашается пронзительным пением, куплетами, звуками флейты и трагическими монологами. Земля дрожит от топота танцующих людей и медведей.

Все есть на улице.

### СТАРУШКА С ГЕРЦОГОМ

На Кузнецком, у витрины трикотажной лавки, на фоне розовых сорочек и дамских фетровых колпачков, стоит старая девушка в шляпке с вуалеткой. Старая помахивает большим рижим ридикулем и жалобно поет:

Бегите во Фландрию, герцог де Линь,  
Бегите во Фландрию, герцог!  
За вами сомкнется безбрежная синь  
И хлопнут железные дверцы.

Мимо старушки с герцогом де Линем, которому по неизвестным нам причинам необходимо мчаться во Фландрию, проходят деловые и неделовые люди. Неделовые люди долго стоят возле певицы и, покачивая в такт головою, выслушивают песню до конца и уходят, не заплатив. Деловые быстро суют две копейки и, охая, устремляются за автобусом.

Кое-как старушка перебивается. И если говорить честно, то почему бы ей, старой девушке, не процветать?

В Большом театре тоже ведь не ахти какие слова поют («Бог всесильный, бог любви, ты внелми моей мольбе» или «Милая Аида, луч светлый солнца»). И ничего. Процветают.

### МОСКОВСКИЕ ЭСМЕРАЛДЫ

Сказавший «а», должен сказать «б».

Там, где опера, там без балета невозможно.

Академический балет представлен на улице двумя цыганочками лет по семи.

Цыганочки работают в двухстах шагах от певицы. Они богато украшены малахитовыми серьгами и изумрудными соплями. Выпучив животики и тряся многочисленными юбками, цыганочки откальвают мессереровские антраша с уклоном в «танцы народностей».

Танцы их еще короче, чем на понедельничных сборных халтур-абендах.

Неделовых людей, которые и тут хотят ускользнуть от уплаты денег, балетчицы грубо оскорбляют словами и даже действиями.

### НАСТОЯЩИЙ ПЕРСИМФАНС

Какой же порядочный театр, насчитывающий не менее пяти ярусов и ста колонн, мешающих зрителю смотреть на сцену, может обойтись без хорошей классической музыки?

Хромой скрипач-флейтист в черных очках — уличный персимфанс (передвижной симфонический оркестр без дирижера) — выгодно отличается от понедельничного персимфанса тем, что он действительно:

1. Передвижной (настоящий персимфанс предпочитает отсиживаться в Большом зале консерватории).

2. Симфонический (работает без участия именитых гастролеров).

3. Без дирижера (в настоящем персимфансе, говорят, профессор Цейтлин нет-нет, а взмахнет смычком и строго глянет на музыкантов, посылно заменяя дирижера).

На улице дело чистое. Дирижера действительно нет, если не считать постового милиционера, дирижирующего уличным движением. Да и то взмах его палочки подает музыкантам сигнал убираться подобру-поздорову, пока их не свели в отделение.

### В ЛАПУ С ЭПОХОЙ

В области цирка и эстрады уличные артисты совершенно заткнули своих рабисовских коллег.

Никогда в мюзик-холле не увидать фокусника, работающего с такой отчетливостью и блеском, как китаец, дающий свои волшебные представления на бульваре.

Всемирно известный загадочный индивидуум и загадка лабораторий (500 аншлагов в Нью-Йорке и Минске) мосье Касфикис приезжает с 15 вагонами аппаратуры. Во время работы ему помогает дюжина индусов со скрещенными руками и десяток отечественных верзил, снующих за сценой.

И нет-нет, а номер не удается.

То испортится астральный фонтан, то заест блок, и воздушная посылка остается висеть в воздухе, то с галерки раздается крик оскорбленного ребенка:

— Мама, у него птица позади привязана на веревочке!

Но китайца с Тверского бульвара не поймаешь. 300 отчаянных любителей фокусов заглядывают в самую его душу и все же не могут открыть секрета.

Беспризорный аккомпанирует своим куплетам на ложках, унесенных из нарпитовской столовой. И текст и исполнение гораздо свежее, чем у всяческих музыкальных клоунов.

Даже в танцах дрессированных медведей отразилась современность. В то время как на цирковой арене медведи отплясывают фокстрот, их уличные собратья идут в ногу (в лапу?) с эпохой.

— А покажи, Миша, — говорит вожак, дергая цепь, — покажи, Миша, как у нас поднимают производительность труда.



— А ну, покажи, Миша, как супруги из загса идут.  
И Миша показывает все, что требует эпоха.

### ВЕЛИКИЕ АРТИСТЫ

Это нищие. Играют они великолепно. Играют по методу Станиславского. Переживают. Натурально кашляют. Идеально хромают. В ролях слепых играют так, что никакому королю Лиру не угнаться. Тут вы увидите Фирса.

— Уехали, — говорит Фирс, — кхе-кхе! А меня забыли, кхе-кхе! Подайте бедному старичку. Три дня старичок не ел. Совсем старичок отошал.

Юродивые из «Царя Федора Иоанновича» стоят в уголку с кроткими лицами, робко протягивая ручку.

И дядя Ваня, тряся своей великолепной бородкой, конфиденциально шепчет:

— Подайте бывшему землевладельцу и крупному собственнику.

Хорошо играют. И, казалось бы, рольки крохотные, а как сделаны! Великие артисты!

1929

### ГИБЕЛЬНОЕ ОПОВЕРЖЕНИЕ

— Кто написал эту порочащую меня заметку? — спросил Арест Павлович.

Он заговорил с теми дерзкими интонациями в голосе, какие присущи у нас только некоторым начальникам и людям свободных профессий (извозчикам, зубоврачам и театральным барышникам).

— Я не могу допустить подрыва моего авторитета. Это возмутительно!

И он махнул рукою в сторону стенгазеты «Под копірку».

Там, под рисунком, изображавшим голого волосатого человека в автомобиле, были помещены стихи:

#### МОЧАЛКОЙ ПО ЧЕРЕПУ

В двенадцать часов по утрам  
Со стула встает наш директор,  
И в баню стремится он сам  
В казенной машине при этом,

Он любит казенный бензин  
И труд сверхурочный шофера,  
И жаждет он легкого пару,  
Но мы поддадим ему жару.

Стихи были подписаны странным псевдонимом — Антихрист.

— Кто это Антихрист? — добивался Арест Павлович, заглядывая в глаза редактора стенгазеты — человека с толстым плаксивым лицом и жалобной улыбкой.

— Я считаю ваш вопрос не этичным, — ответил редактор, страдальчески кривя апельсиновое лицо. — Вы не имеете права добиваться раскрытия псевдонима. Все наши стенкоры: Антихрист, и Венера, и Винтик, и Форсунка — все они для вас не более как Венера, Форсунка, Винтик и Антихрист. А фамилии тут ни при чем.

Арест Павлович испугался.

— Вы, товарищ Укусихин, не подумайте, что я с целью зажима самокритики. У меня и в мыслях не было. Но заметка товарища Антихриста насквозь лжива. Ведь не возражаю же я против заметки товарища Венеры, который совершенно правильно пишет о плохой постановке работы кружка балалаечни-

ков. А вот товарищ Антихрист мне подозрителен. И псевдоним у него какой-то церковный. Смотрите, не есть ли это равнение на узкие места? Не развязывают ли подобные выступления мелкобуржуазную стихию?

— Стихию? — спросил Укусихин. — Нет. Стихию не развязывают.

— Но ведь заметка полна клеветы! — завизжал Арест Павлович.

— А вы напишите опровержение. Если будет деловое опровержение — мы напечатает.

— И конечно, напишу.

Придя домой, Арест Павлович долго думал над тем, как бы похитрее составить опровержение. Отпираться было очень трудно. Наконец Ареста Павловича осенило.

На другой день он передал в стенгазету опровержение:

#### МОЙ ОТВЕТ АНТИХРИСТУ

Трудно отвечать на заметки, подписанные псевдонимом. Уже это одно (псевдоним) показывает, что человек не решается честно взглянуть вам в глаза и укрывается под псевдонимом.

Но я не боюсь смотреть в глаза правде-матке. И вот я отвечаю на выпад скрывшегося под псевдонимом гр. Антихриста.

Да будет известно гр. Антихристу и его присным, что я не только не ездил в баню на казенном автомобиле, но и вообще не был в бане с 1923 года. Я ожидал получения квартиры в жилищоперации, где будет ванна и где я, если захочу, буду мыться без всякого разрешения со стороны скрывшегося под псевдонимом гр. Антихриста.

Это опровержение было помещено в очередном номере стенгазеты «Под копирку». И в этом же номере Арест Павлович с ужасом прочел новое стихотворение Антихриста:

#### ПЕСНЬ О ВЕЩЕМ АРЕСТЕ

Как ныне собирается веший Арест  
Отмстить неразумным стенкорам,  
Он в бане не моется вот уж шесть лет,  
Покрылся он грязью с позором.

В заключение говорилось о том, что поход «вешего Ареста» на стенкоров никак нельзя назвать культурным походом. (Шесть лет не мылся в бане.)

И тут только Арест Павлович понял, в какую бездну увлекла его страсть к опровержениям.

Кто бы ему теперь поверил, что не далее как в прошлую пятницу он ездил в баню на казенном автомобиле.

1929

#### ЧАРЛЬЗ-АННА-ХИРАМ

Американский инженер Чарльз-Анна-Хирам Фост подписал договор на год работы в СССР.

Родственники и знакомые господина Фоста считали, что Чарльз-Анна-Хирам сделал хороший бизнес.

— Хотя смотрите, дружище Фост, — сказал ему знакомый фабрикант резиновых груш, — за свои денежки большевики заставят вас поработать.

Чарльз-Анна-Хирам объяснил, что работы не боится и давно уже искал широкого поприща для применения своих обширных познаний. Потом уложил чемоданы, сел на пароход и отплыл в Европу.

— Вы едете работать в Москву? — спросили его на пароходе на третий день плавания.

— Еду, — сказал Хирам.

— Там много работать придется. Пищать будете.

— Для этого и еду. Раз подписал договор — буду пищать.

Когда инженер Фост в поезде пересекал Европу, к нему подошел любопытствующий пассажир и, узнав о цели поездки Хирама, воскликнул:

— Все соки из вас выжмут в Москве!

Эти мрачные предсказания навеяли грусть на впечатлительную душу Хирама. Ему показалось даже, что он сделал не столь уж блестящий бизнес.

Управделами треста, крелясь набок, взошел в кабинет директора и доложил:

— Приехал иностранный специалист.

— Это тот, на которого мы договор заключали? Прекрасно! Он нам нужен до зарезу. Вы куда его девали?

— Пока в гостиницу. Пусть отдохнет с дороги.

Директор забеспокоился:

— Какой там может быть отдых? Столько денег за него плачено! Он нам нужен сию минуту. Жалко вот, что мне сейчас нужно ехать... Тогда отложим на завтра. Вызовите его ко мне ровно в десять часов утра.

Ровно в десять Чарльз-Анна-Хирам Фост, распаляемый мыслью о широчайшем поприще, на котором он сейчас же начнет применять свои знания, сидел в директорской приемной.

Директора еще не было.

Не было его также через час и через два.

Хирам начал томиться. Развлекал его только управделами, который время от времени появлялся и вежливо спрашивал:

— Что, разве еще не приходил директор? Странно, странно!

В два часа дня управделами поймал в коридоре инженера Румянцева-Дунаевского и начал с ним шептаться.

— Прямо не знаю, что делать! Иван Павлович назначил американцу на десять часов утра, а сам уехал в Ленинград для увязки сметных неполадок. Раньше недели не вернется. Посидите с ним, Адольф Николаевич, неудобно, все-таки иностранец. Деньги плачены.

Румянцев-Дунаевский выхватил из приемной раздраженного ожиданием Фоста и повел его в Третьяковскую галерею смотреть картину Репина «Иван Грозный убивает своего сына».

В течение недели господин Фост, руководимый Румянцевым-Дунаевским, успел осмотреть три музея, побывать на балете «Спящая красавица» и просидеть часов десять на торжественном заседании, устроенном в его честь.

«Дорогая Цецилия, — писал он невесте в Филадельфию, — вот уже около десяти дней я сижу в Москве, но к работе еще не приступал. Боюсь, что эти дни мне вычтут из договорных сумм».

Однако 15-го числа артельщик-плательщик вручил Фосту полумесячное жалованье.

— Не кажется ли вам, — сказал Фост своему новому другу Румянцеву-Дунаевскому, — что мне заплатили деньги зря?

— Почему зря? — удивился Румянцев. — Вы же ездите к нам каждый день!

— Но ведь вы не поручили мне никакой работы! Я не работаю.

— Оставьте, коллега, эти мрачные мысли! — вскричал Дунаевский. — Впрочем, если вы хотите, мы можем поставить вам специальный стол в моем кабинете!

После этого Хирам сидел за специальным собственным столом и писал письма невесте.

«Дорогая крошка! Я живу странной и необыкновенной жизнью. Я абсолютно ничего не делаю, но деньги мне платят аккуратно. Все это меня удивляет».

Приехавший из Ленинграда директор узнал, что у Фоста уже есть стол, и успокоился.

— Ну вот и прекрасно! — сказал он. — Пусть Румянцев-Дунаевский введет американца в курс дела.

Через два месяца к директору явился Фост. Он был очень взволнован.

— Я не могу получать деньги даром, — выпалил он. — Дайте мне работу! Я считаю такое положение нетерпимым! Если так будет продолжаться, я буду жаловаться вашему патрону.

Конец речи Хирама не понравился директору.

Он вызвал к себе Румянцева-Дунаевского.

— Что с американцем? — спросил он. — Чего он бесится?

— Знаете что, — сказал Румянцев, — по-моему, он просто склочник. Ей-богу. Сидит человек за столом, ни черта не делает, получает тьму денег и еще жалуется. Вот, действительно, склочная натура. Вот что, Иван Павлович, к нему надо применить репрессии.

Через две недели инженер Фост, видный американский специалист, писал своей невесте уже не из Москвы, а из какого-то Средне-Удинска.

«Дорогая крошка! Наконец-то я на заводе. Работы много и работа очень интересная. Сейчас я разрабатываю проект полной механизации всех работ. Но вот что меня поражает, дорогая Цецилия, это то, что сюда меня послали в наказание! Можешь ли ты себе это представить?..»

1929

## ШАЛУНЫ И ШАЛУНЬИ

Знаете ли вы, что такое общественный просмотр?

Если вы журналист, деятель театра или просто культработник, то вы, конечно, не знаете, что такое общественный просмотр.

Трудно журналисту, деятелю кино или просто культработнику попасть в число лиц, которым выпадает счастье явиться первыми зрителями нового фильма или новой пьесы.

Как видно, основная беда состоит в том, что попасть на общественный просмотр можно только даром, по пригласительным билетам.

Есть в каждом городе люди, которые целью своей поставили бесплатное пользование благами жизни.

С такими людьми разговор носит всегда один и тот же характер:

— Еду во Владивосток, — говорит принципиальный неплательщик. — Путешествовать, встряхнуться.

— А ведь такое встряхивание обойдется вам недешево. Подумайте, один железнодорожный билет...

— У меня бесплатный проезд!

— Разве вы железнодорожник?

— Нет, я не железнодорожник.

Выясняется, что принципиальный неплательщик непричастен также и к водному транспорту и никаких прав на бесплатный проезд не имеет. Вообще он ни на что не имеет прав, но все получает бесплатно.

Как видно, у нас уж такая страна. Достаточно только очень захотеть, чтобы получить. А принципиальные неплательщики упрямы чрезвычайно. И своего добиваются.

Таким образом в зале, где происходит общественный просмотр, представителей общественности почти нет. Их с успехом заменяют молодые шалуны и шалуньи совершенно неизвестных профессий.

Шалуны и шалуны по большей части знакомы (в поездках и бесплатных санаториях знакомства завязываются чрезвычайно легко). Они приветствуют друг друга веселыми криками и занимают места по неизвестно как полученным контрамаркам, а то и вовсе без таковых.

Редких представителей общественности оттесняют на галерку.

Кроме принципиальных неплательщиков и одиночек-общественников в зале теснятся первачи.

Слой первачей образуется так:

Часть билетов (очень незначительная) рассылается по учреждениям. Там их забирает тот, кто увидит первым. Забирает все сразу. Отсюда и слово «первач».

Первачи великодушны и охотно распределяют билеты среди знакомых девушек, отдавая предпочтение красивым блондинкам, склонным к полноте. Некрасивым девушкам первачи билетов никогда не дают.

Поэтому в день общественного просмотра в зале есть на что посмотреть, есть чем полюбоваться, есть на чем отдохнуть глазу.

Иногда же просмотры, как видно, для удобства многочисленных представителей общественности, устраиваются в полночь, когда просыпаются совы, или на рассвете, когда просыпается петух.

Одиночки-общественники, заморенные работой, на такие просмотры попасть, конечно, не могут. А первачам и неплательщикам все равно, в каком часу дня или ночи. Лишь бы бесплатно.

А бывают и такие просмотры.

Перед серебристым экраном сидит один чиновник из Совкино с невыразительными чертами лица и смотрит новый граничный фильм.

— А ведь ничего фильмик? — шепчет он самому себе. — Надо купить.

И вскоре по воле чиновника с невыразительными чертами лица на экранах появляются фильмы:

1. «Лулу».
2. «Мулен-Руж».
3. «Опыт инженера Стронга».
4. И др., и др., и др-р-р, гав-гав!

Такого чиновника действительно хочется укусить за икры.

Несомненно, что человек с таким вкусом, как наш чиновник, хорошие картины бракует, ибо нам доподлинно известно, что есть на Западе не только плохие фильмы.

Итак, на английский манер позволим себе задать вопрос достопочтенным гражданам из Совкино:

— Известно ли вам, что за последние годы вами куплено самое отвратительное, бездарное, вредное из всего того, что выпущено в области кино за границей?

Ответ согласны услышать в любом месте и в любой день, письменно и устно.

1929

## КОГДА УЛЕТАЮТ ПТИЦЫ

Приблизительно с сентября месяца столицу начинает трясти концертная лихорадка. Птицы улетают в Египет. Вместо них налетают администраторы, и пение птиц на всю зиму заменяется звуками скрипок, роялей, голосов и арф.

### ЖЕРТВОПРИНОШЕНЧЕСКИЕ ПЛЯСКИ

Есть концерты, незримые миру.

Даются они обычно в богатых учреждениях и знаменуют начало семейного вечера.

Сотрудники, извещенные рукописными афишами, стекаются в большой финсчетный зал, из которого убраны столы и стулья.

Там, на временных подмостках, уже бродит завхоз, организатор концерта, он же конферансье.

— Товарищи, — говорит он, дружелюбно усмехаясь, — позвольте считать наш семейный вечер открытым.

Ему позволяют, но еще часа два подмостки пустуют. Завхоз-конферансье умчался в такси за гвоздем вечера — балериной Шланг.

Если учреждение в эти дни раздрает склока, то публика не скучает. Взвешиваются шансы того или иного начальника, передаются волнующие слухи, плетутся адские интриги.

Но если случайно склоки нет, то публика томится и выдвигает из своей среды артистов-любителей.

Управделами, шатаясь от страха, невнятно бормочет:

— Эпиталама из оперы «Нерон».

Делопроизводительница ударяет по клавишам, и певец начинает:

Пою тебе, бог Гименей,  
Ты, что соединяешь  
Невесту с женихом,  
Пам-пам-пам, папапам...

Но уже гремит под окнами мотор, и балерина Шланг, спотыкаясь о футляры для пишущих машинок, сваленные на пол, выпрыгивает на сцену.

Дальше все понятно.

Мелодекламация: «Трубадур идет веселый» или «В английской шахте стонет Джон, работою он удручен». Потом скрипач, цимбалист, певец, сатирик и исполнительница якутских жертвоприношенческих плясок.

Через два дня в вечерней газете появляется письмо в редакцию:

«Местком такого-то учреждения приносит свою глубокую благодарность артистам т.т. Шланг, Птибурбукову, Саломейцевой, Юмореску, Океан-Пололенову и Инге Зайонц за любезное участие в семейном вечере».

Артисты бережно сохраняют эту записку. Такая записка стоит гонорара — она дает артисту репутацию общественника.

#### СЕРДЦЕ КРАСАВЦА

Знаменитый тенор, любящий фотографироваться вполборота, со скрещенными на груди пухлыми руками, тот самый тенор, которого публика уже тридцать лет знает по имени и отчеству, дает концерт.

При выборе зала меньше всего его занимает акустика. Ему важно одно — в зале должно быть побольше мест.

Найдя такой зал, он выпускает лиловые афиши и ждет. Ждать ему приходится недолго. Через три дня все билеты проданы.

Тенор надевает фрак, втыкает в петлицу хризантему величиной с головку цветной капусты и выходит на сцену. Впереди себя он держит ноты, хотя поет одно и то же уже тридцать лет.

Раньше в его концертах участвовали три-четыре артиста. Но трем-четырем артистам надо платить.

И вот знаменитый тенор стал уменьшать число соучастников.

Их стало двое, потом один, а потом вовсе не стало. Жадность одолела знаменитого тенора.

Теперь он неумолчно поет весь вечер один.

— Что вам спеть? — спрашивает баловень Софила.

И публика заказывает. Но арию из «Риголетто», для которой пришли все, он не поет.

— Я буду петь ее на следующем концерте, — говорит тенор с улыбкой гостеприимного хозяина. — Приходите. Милости просим.

Зал вздыхает. Придется еще раз потратиться на билеты.

#### ВОЗМЕЩЕННАЯ ПОТЕРЯ

Есть также концерты ослепительные. Их устраивает администратор, которому не удалось выиграть 25 000 рублей по облигации.

Эту потерю администратор с лихвой возмещает устройством гала-концерта, афиша которого имеет такой вид:

1-й ГОСЦИРК  
ГАЛА-КОНЦЕРТ  
ВСЕ НА АРЕНЕ  
Народный артист А. Космос-Косматов  
укрошает львов

Кордебалет из заслуженных артистов Малого театра  
600 девушек  
Начальник Главискусства под куполом цирка

Французская борьба:  
1-я пара: Яров — Качалов  
2-я пара: Смирнов — Сокольский  
Судьи Петкер и Межинский  
Артистки-горизонталистки  
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ

У ковра — главный бухгалтер Модпика  
5 процентов сбора в пользу  
недостаточных слушательниц  
8-х курсов поэзии и прозы

И публика валит, не соображая, что остальные 95% сбора идут отнюдь не на пользу поэзии и прозы.

1929

#### ПОЛУПЕТУХОВЩИНА

Время от времени, но не реже, однако, чем раз в месяц, раздается истошный вопль театральной общественности:

— Нужно оздоровить советскую эстраду!

— Пора уже покончить!

— Вон!

Всем известно, кого это «вон» и с кем «пора уже покончить».

— Пора, пора! — восклицают директора и режиссеры театров малых форм.

— Ох, давно пора, — вздыхают актеры этих же театров.

— Скорее, скорее вон! — стонет Главискусство.

Решают немедленно, срочно, в ударном порядке приступить к оздоровлению советской эстрады и покончить с полупетуховщиной.

Всем ясно, что такое полупетуховщина.

Исчадие советской эстрады, халтурщик Полупетухов наводнил рынок пошлыми романсами («Пылали домны в день ненастья, а ты уехала в лан-



до»), скетчами («Совслужащий под диваном»), сельскими частушками («Мой миленок не дурак, вылез на акацию, я ж пойду в универмаг, куплю облигацию»), обозрениями («Скажите — А!»), опереттами («В волнах самокритики») и др. и пр.

Конечно, написал все это не один Сандро Полупетухов, писали еще Борис Аммиаков, Луврие, Леонид Кегельбан, Леонид Трепетовский и Артур Иванов.

Однако все это была школа Сандро и все деяния поименованных лиц назывались полупетуховщиной.

Действительно, отвратительна и пошла была полупетуховщина. Ужасны были романсы, обозрения, частушки, оперетты и скетчи.

И желание театральной общественности оздоровить эстраду можно только приветствовать.

Оздоровление эстрады обычно начинается с созыва обширного, сверхобщего собрания заинтересованных лиц.

Приглашаются восемьсот шестьдесят два писателя, девяносто поэтов, пятьсот один критик, около полутора тысяч композиторов, администраторов и молодых дарований.

— Не много ли? — озабоченно спрашивает ответственное лицо.

— Ну, где же много? Всего около трех тысяч пригласили. Значит, человек шесть придет. Да больше нам и не нужно. Создадим мощную драмгруппу, разобьем ее на подгруппы, и пусть работают.

И действительно, в назначенный день и час в здании цирка, где пахнет дрессированными осликами и учеными лошадьми, наверху, в канцелярии, открывается великое заседание.

Первым приходит юный Артур Иванов в пальто с обезьяньим воротником. За ним врываются два Леонида, из коих один Трепетовский, а другой Кегельбан. После Луврие, Бориса Аммиакова является сам Сандро Полупетухов.

Вид у него самый решительный, и можно не сомневаться, что он вполне изготовился к беспощадной борьбе с полупетуховщиной.

— Итак, товарищи, — говорит ответлицо, — к сожалению, далеко не все приглашенные явились, но я думаю, что можно открывать заседание. Вы разрешите?

— Валяй, валяй, — говорит Аммиаков. — Время не терпит. Пора уже наконец оздоровить.

— Так вот я и говорю, — стонет председатель. — До сих пор наша работа протекала не в том плане, в каком следовало бы. Мы отстали, мы погрязли...

В общем, из слов председателя можно понять, что на театре уже произошла дифференциация, а эстрада безбожно отстает. До сих пор Луврие писал обозрения вместе с Артуром Ивановым, Леонид Трепетовский работал с Борисом Аммиаковым, а Сандро Полупетухов — с помощью Леонида Кегельбана.

— Нужно перестроиться! — кричит председатель. — Если Луврие будет писать с Трепетовским, Сандро возьмет себе в помощники Иванова, а Кегельбан Аммиакова, то эстрада несомненно оздоровится.

Все соглашаются с председателем. И через неделю в портфель эстрады поступают оздоровленные произведения.

Романс («Ты из ландо смотрела влево, где высылось строительство гидро»), скетч («Радио в чужой постели»), колхозные частушки («Мой миленок идеет, убоялся факта, он в колхозы не идет, не садится в трактор»), обозрение («Не морочьте голову»), оперетта («Фокс на полюсе») и др. и пр.

И на месяц все успокаиваются.

Считается, что эстрада оздоровлена.

---

# ОДНОЭТАЖНАЯ АМЕРИКА

---

## Часть первая ИЗ ОКНА 27-го ЭТАЖА

### Глава I «НОРМАНДИЯ»

В девять часов из Парижа выходит специальный поезд, отвозящий в Гавр пассажиров «Нормандии». Поезд идет без остановок и через три часа вкатывается в здание гаврского морского вокзала. Пассажиры выходят на закрытый перрон, поднимаются на верхний этаж вокзала по эскалатору, проходят несколько зал, идут по закрытым со всех сторон сходам и оказываются в большом вестибюле. Здесь они садятся в лифты и разъезжаются по своим этажам. Это уже «Нормандия». Каков ее внешний вид — пассажирам неизвестно, потому что парохода они так и не увидели.

Мы вошли в лифт, и мальчик в красной куртке с золотыми пуговицами изящным движением нажал красивую кнопку. Новенький блестящий лифт немного поднялся вверх, застрял между этажами и неожиданно двинулся вниз, не обращая внимания на мальчика, который отчаянно нажимал кнопки. Спустившись на три этажа, вместо того чтобы подняться на два, мы услышали мучительно знакомую фразу, произнесенную, однако, на французском языке: «Лифт не работает».

В свою каюту мы поднялись по лестнице, сплошь покрытой несгораемым каучуковым ковром светло-зеленого цвета. Таким же материалом устланы коридоры и вестибюли парохода. Шаг делается мягким и неслышным. Это приятно. Но по-настоящему начинаешь ценить достоинства каучукового настила во время качки: подошвы как бы прилипают к нему. Это, правда, не спасает от морской болезни, но предохраняет от падения.

Лестница была совсем не пароходного типа — широкая и пологая, с маршами и площадками, размеры которых вполне приемлемы для любого дома.

Кабюта была тоже какая-то не пароходная. Просторная комната с двумя окнами, двумя широкими деревянными кроватями, креслами, стенными шкафами, столами, зеркалами и всеми коммунальными благами, вплоть до телефона. И вообще «Нормандия» похожа на пароход только в шторм — тогда ее хоть немного качает. А в тихую погоду — это колоссальная гостиница с роскошным видом на море, которая внезапно сорвалась с набережной модного курорта и со скоростью тридцати миль в час поплыла в Америку.

Глубоко внизу, с площадок всех этажей вокзала, провожающие выкрикивали свои последние приветствия и пожелания. Кричали по-французски, по-английски, по-испански. По-русски тоже кричали. Станный человек в черном морском мундире с серебряным якорем и щитом Давида на рукаве, в берете и с печальной бородкой кричал что-то по-еврейски. Потом выяснилось, что это пароходный раввин, которого Генеральная трансатлантическая компания содержит на службе для удовлетворения духовных потребностей некоторой части пассажиров. Для другой части имеются наготове католический и протестантский священники. Мусульмане, огнепоклонники и советские инженеры лишены духовного обслуживания. В этом отношении Генеральная

трансатлантическая компания предоставила их самим себе. На «Нормандии» есть довольно большая католическая церковь, озаряемая чрезвычайно удобным для молитвы электрическим полусветом. Алтарь и религиозные изображения могут быть закрыты специальными щитами, и тогда церковь автоматически превращается в протестантскую. Что же касается раввина с печальной бородкой, то отдельного помещения ему не отведено, и он совершает свои службы в детской комнате. Для этой цели компания выдает ему талес и особую драпировку, которой он закрывает на время суетные изображения зайчиков и кошечек.

Пароход вышел из гавани. На набережной и на молу стояли толпы людей. К «Нормандии» еще не привыкли, и каждый рейс трансатлантического колосса вызывает в Гавре всеобщее внимание. Французский берег скрылся в дыму пасмурного дня. К вечеру заблестели огни Саутгемптона. Полтора часа «Нормандия» простояла на рейде, принимая пассажиров из Англии, окруженная с трех сторон далеким таинственным светом незнакомого города. А потом вышла в океан, где уже начиналась шумная возня невидимых волн, поднятых штормовым ветром.

Все задрожало на корме, где мы помещались. Дрожали палубы, стены, иллюминаторы, шезлонги, стаканы над умывальником, сам умывальник. Вибрация парохода была столь сильной, что начали издавать звуки даже такие предметы, от которых никак этого нельзя было ожидать. Впервые в жизни мы слышали, как звучит полотенце, мыло, ковер на полу, бумага на столе, занавески, воротничок, брошенный на кровать. Звучало и гремело все, что находилось в каюте. Достаточно было пассажиру на секунду задуматься и ослабить мускулы лица, как у него начинали стучать зубы. Всю ночь казалось, что кто-то ломится в двери, стучит в окна, тяжко хохочет. Мы насчитали сотню различных звуков, которые издавала наша каюта.

«Нормандия» делала свой десятый рейс между Европой и Америкой. После одиннадцатого рейса она пойдет в док, ее корму разберут, и конструктивные недостатки, вызывающие вибрацию, будут устранены.

Утром пришел матрос и наглухо закрыл иллюминаторы металлическими щитами. Шторм усиливался. Маленький грузовой пароход с трудом пробирался к французским берегам. Иногда он исчезал за волной, и были видны только кончики его мачт.

Всегда почему-то казалось, что океанская дорога между Старым и Новым Светом очень оживлена, что то и дело навстречу попадают веселые пароходы, с музыкой и флагами. На самом же деле океан — это штука величественная и пустынная, и пароходик, который штормовал в четырехстах милях от Европы, был единственным кораблем, который мы встретили за пять дней пути. «Нормандия» раскачивалась медленно и важно. Она шла, почти не уменьшив хода, уверенно расшвыривая высокие волны, которые лезли на нее со всех сторон, и только иногда отвешивала океану равномерные поклоны. Это не было борьбой мизерного создания человеческих рук с разбушевавшейся стихией. Это была схватка равного с равным.

В полукруглом курительном зале три знаменитых борца с расплюснутыми ушами, сняв пиджаки, играли в карты. Из-под их жилеток торчали рубахи. Борцы мучительно думали. Из их ртов свисали большие сигары. За другим столиком два человека играли в шахматы, поминутно поправляя съезжающие с доски фигуры. Еще двое, упершись ладонями в подбородки, следили за игрой. Ну кто еще, кроме советских людей, станет в штормовую погоду разыгрывать отказанный ферзевой гамбит! Так оно и было. Симпатичные Ботвинники оказались советскими инженерами.

Постепенно стали заводиться знакомства, составляться компании. Роздали печатный список пассажиров, среди которых оказалась одна очень смешная семья: мистер Бутербродт, миссис Бутербродт и юный мистер Бутерб-

родт. Если бы на «Нормандии» ехал Маршак, он, наверно, написал бы стихи для детей под названием «Толстый мистер Бутербродт».

Вошли в Гольфштрем. Шел теплый дождик, и в тяжелом оранжерейном воздухе осаждалась нефтяная копоть, которую выбрасывала одна из труб «Нормандии».

Мы отправились осматривать пароход. Пассажиры третьего класса не видят корабля, на котором он едет. Его не пускают ни в первый, ни в туристский классы. Пассажир туристского класса тоже не видит «Нормандии», ему тоже не разрешается переходить границ. Между тем первый класс — это и есть «Нормандия». Он занимает по меньшей мере девять десятых всего парохода. Все громадно в первом классе: и палубы для прогулок, и рестораны, и салоны для курения, и салоны для игр в карты, и специальные дамские салоны, и оранжерея, где толстенки французские воробьи прыгают на стеклянных ветвях и с потолка свисают сотни орхидей, и театр на четыреста мест, и бассейн для купанья — с водой, подсвеченной зелеными электрическими лампами, и торговая площадь с универсальным магазином, и спортивные залы, где пожилые лысоватые господа, лежа на спине, подбрасывают ногами мяч, и просто залы, где те же лысоватые люди, уставшие бросать мяч или скакать на цандеровской деревянной лошадке, дремлют в расшитых креслах, и ковер в самом главном салоне, весом в тридцать пудов. Даже трубы «Нормандии», которые, казалось бы, должны принадлежать всему пароходу, на самом деле принадлежат только первому классу. В одной из них находится комната для собак пассажиров первого класса. Красивые собаки сидят в клетках и безумно скукают. Обычно их укачивает. Иногда их выводят прогуливать на специальную палубу. Тогда они нерешительно лают, тоскливо глядя на бурный океан.

Мы спустились в кухню. Десятки поваров трудились у семнадцатиметровой электрической плиты. Еще десятки потрошили птицу, резали рыбу, пекли хлеб, воздвигали торты. В специальном отделе изготавлялась кошерная пища. Иногда сюда заходил пароходный раввин, чтобы посмотреть, не подбросили ли веселые французские повара кусочков трефного в ортодоксальную пищу. В ледяных кладовых хранились припасы. Там свирепствовал мороз.

«Нормандию» называют шедевром французской техники и искусства. Техника «Нормандии» действительно великолепна. Нельзя не восхищаться скоростью парохода, его противопожарным устройством, смелыми и элегантными линиями его корпуса, его радиостанцией. Но в области искусства французы знали лучшие времена. Безупречное выполнение живописи на стеклянных стенах, но самая живопись ничем особенным не блещет. Это же относится к барельефам, к мозаике, к скульптуре, к мебели. Очень много золота, цветной кожи, красивых металлов, шелков, дорогого дерева, великолепного стекла. Очень много богатства и очень мало настоящего искусства. В общем, это то, что французские художники, безнадежно разводя руками, называют «стиль Триумф». Недавно в Париже, на Елисейских полях, открылось кафе «Триумф», пышно отделанное в будуарно-постельном роде. Жалко! Хотелось бы, чтобы в создании «Нормандии» партнерами замечательных французских инженеров были замечательные французские художники и архитекторы. Это тем более жалко, что такие люди во Франции есть.

Некоторые недочеты в технике — например, вибрацию на корме, испортившийся на полчаса лифт и другие досадные мелочи — надо поставить в вину не инженерам, строившим этот прекрасный корабль, а скорее нетерпеливым заказчикам, торопившимся начать эксплуатацию и во что бы то ни стало получить голубую ленту за рекордную быстроту.

Накануне прихода в Нью-Йорк состоялся парадный обед и вечер самодеятельности пассажиров. Обед был такой, как обычно, только добавили по ложке русской икры, называвшейся в меню «окра». Кроме того, пассажирам раздавали бумажные корсарские шляпы, хлопушки, значки в виде голубой ленты

с надписью «Нормандия» и бумажники из искусственной кожи, тоже с маркой Трансатлантической компании. Раздача подарков производится для того, чтобы уберечь пароходный инвентарь от разграбления. Дело в том, что большинство путешественников одержимо психозом собирания сувениров. В первый рейс «Нормандии» пассажиры утащили на память громадное количество ножей, вилок и ложек. Уносили даже тарелки, пепельницы и графины. Так что выгоднее подарить значок в петлицу, чем потерять ложку, необходимую в хозяйстве. Пассажиры радовались игрушкам. Толстая дама, которая в течение всех пяти дней путешествия просидела в углу столовой одна, сразу же с деловым видом надела на голову пиратскую шляпу, разрядила хлопушку и приколола к груди значок. Как видно, она считала своим долгом добросовестно воспользоваться благами, полагавшимися ей по билету.

Вечером началась мелкобуржуазная самодеятельность. Пассажиры собрались в салоне. Потушили свет и навели прожектор на маленькую эстраду, куда, дрожа всем телом, вышла изможденная девица в серебряном платье. Оркестр, составленный из профессионалов, смотрел на нее с жалостью. Публика поощрительно зааплодировала. Девица конвульсивно открыла рот и сразу же его закрыла. Оркестр терпеливо повторил интродукцию. В предчувствии чего-то ужасного, зрители старались не смотреть друг на друга. Вдруг девица вздрогнула и запела. Она пела известную песенку «Говорите мне о любви», но так тихо и плохо, что нежный призыв никем не был услышан. В середине песни девица неожиданно убежала с эстрады, закрыв лицо руками. На эстраде появилась другая девица, еще более изможденная. Она была в глухом черном платье, но босая. На лице ее был написан ужас. Это была босоножка-любительница. Зрители начали воровато выбирать из зала. Все это было совсем не похоже на нашу жизнерадостную, талантливую, горластую самодеятельность.

На пятый день пути палубы парохода покрылись чемоданами и сундуками, выгруженными из кают. Пассажиры перешли на правый борт и, придерживая руками шляпы, жадно всматривались в горизонт. Берега еще не было видно, а нью-йоркские небоскребы уже подымались прямо из воды, как спокойные столбы дыма. Это поразительный контраст — после пустоты океана вдруг сразу самый большой город в мире. В солнечном дыму смутно блестели стальные грани стадвухэтажного «Эмпайр-стейт-билдинг». За кормой «Нормандии» кружились чайки. Четыре маленьких могучих букира стали поворачивать непомерное тело корабля, подтягивая и подталкивая его к гавани. Слева по борту обозначалась небольшая зеленая статуя Свободы. Потом она почему-то оказалась справа. Нас поворачивали, и город поворачивался вокруг нас, показываясь нам то одной, то другой стороной. Наконец он стал на свое место, невозможно большой, гремящий, еще совсем непонятный.

Пассажиры сошли по закрытым сходням в таможенный зал, проделали все формальности и вышли на улицу города, так и не увидев корабля, на котором приехали.

## Глава II

### ПЕРВЫЙ ВЕЧЕР В НЬЮ-ЙОРКЕ

Таможенный зал пристани «Френч Лайн» велик. Под потолком висят большие железные буквы латинского алфавита. Каждый пассажир становится под ту букву, с которой начинается его фамилия. Сюда привезут с парохода его чемоданы, здесь они будут досматриваться.

Голоса приехавших и встречающих, смех и поцелуи гулко разносились по залу, обнаженные конструкции которого придавали ему вид цеха, где делают турбины.

Мы никого не известили о приезде, и нас никто не встречал. Мы вертелись под своими буквами, ожидая таможенного чиновника. Наконец он подошел.

Это был спокойный и неторопливый человек. Его нисколько не волновало то, что мы пересекли океан, чтобы показать ему свои чемоданы. Он вежливо коснулся пальцами верхнего слоя вещей и больше не стал смотреть. Затем он высунул свой язык, самый обыкновенный, мокрый, ничем технически не оснащенный язык, смочил им большие ярлыки и наклеил их на наши чемоданы.

Когда мы наконец освободились, был уже вечер. Белый такси-кеб с тремя светящимися фонариками на крыше, похожий на старомодную карету, повлек нас в отель. Вначале нас очень мучила мысль, что мы по неопытности сели в плохой, архаический таксомотор, что мы смешны и провинциальны. Но, трусливо выглянув в окно, мы увидели, что во всех направлениях несутся машины с такими же глупыми фонариками, как у нас. Тут мы немножко успокоились. Уже потом мы поняли, что фонарики на крыше учреждены для того, чтобы такси были заметнее среди миллионов машин. С этой же целью такси в Америке красятся в самые вызывающие цвета — оранжевый, канареечный, белый.

Попытка посмотреть на Нью-Йорк из автомобиля не удалась. Мы ехали по довольно темным и мрачным улицам. Иногда что-то адски гудело под ногами, иногда что-то грохотало над головой. Когда мы останавливались перед светофорами, бока стоящих рядом с нами машин заслоняли все. Шофер несколько раз оборачивался и переспрашивал адрес. Как видно, его волновал английский язык, на котором мы объяснялись. Иногда он поглядывал на нас пощирительно, и на лице у него было написано: «Ничего, не пропадете! В Нью-Йорке еще никто не пропадал».

Тридцать два кирпичных этажа нашего отеля уходили в ночное рыжеватое небо.

Покамест мы заполняли короткие регистрационные карточки, два человека из прислуги любовно стояли над нашим багажом. У одного из них висел на шее блестящий круг с ключом той комнаты, которую мы выбрали. Лифт поднял нас на двадцать седьмой этаж. Это был широкий и спокойный лифт гостиницы, не очень старой и не очень новой, не очень дорогой и, к сожалению, не очень дешевой.

Номер нам понравился, но смотреть на него мы не стали. Скорей на улицу, в город, в грохот. Занавески на окнах трещали от свежего морского ветра. Мы бросили свои пальто на диван, выбежали в узкий коридор, застланный узорным бобриком, и лифт, мягко шелкая, полетел вниз. Мы значительно поострели друг на друга. Нет, это все-таки событие! В первый раз в жизни мы идем гулять по Нью-Йорку.

Тонкий, почти прозрачный полосато-звездный флаг висел над входом в наш отель. По другую сторону улицы стоял полированный куб гостиницы «Уолдорф-Астория». В проспектах она называется лучшей гостиницей в мире. Окна «лучшей в мире» ослепительно сияли, а над входом висели целых два национальных флага. Прямо на тротуаре, у обочины, лежали завтрашние номера газет. Прохожие нагибались, брали «Нью-Йорк Таймс» или «Геральд Трибюн» и клали два цента на землю, рядом с газетами. Продавец куда-то ушел. Газеты были прижаты к земле обломком кирпичика, совсем так, как это делают московские старухи газетчицы, сидя в своих фанерных киосках. Цилиндрические мусорные баки стояли на углах перекрестка. Из одного бака выбрасывалось громадное пламя. Как видно, кто-то швырнул туда горящий окурок, и нью-йоркский мусор, состоящий главным образом из газет, загорелся. Полированные стены «Уолдорф-Астории» осветились тревожным красным светом. Прохожие улыбались, отпуская на ходу замечания. К месту происшествия уже двигался полицейский с решительным лицом. Придя к мысли, что нашему отелю не угрожает красный петух, мы пошли дальше.

Сейчас же с нами произошла маленькая беда. Мы думали, что будем медленно прогуливаться, внимательно глядя по сторонам, — так сказать, изучая, наблюдая, впитывая и так далее. Но Нью-Йорк не из тех городов, где люди



движутся медленно. Мимо нас люди не шли, а бежали. И мы тоже побежали. С тех пор мы уже не могли остановиться. В Нью-Йорке мы прожили месяц подряд и все время куда-то мчались со всех ног. При этом у нас был такой занятый и деловой вид, что сам Джон Пирпонт Морган-младший мог бы нам позавидовать. При таком темпе он заработал бы в этот месяц миллионов шестьдесят долларов.

Итак, мы сразу помчались. Мы пронеслись мимо огненных вывесок, на которых было начертано: «Кафетерий», или «Юнайтед сигарс», или «Драг-сода», или еще что-нибудь такое же привлекательное и пока непонятное. Так мы добежали до 42-й улицы и здесь остановились.

В магазинных витринах 42-й улицы зима была в полном разгаре. В одной витрине стояли семь элегантных восковых дам с серебряными лицами. Все они были в чудных каракулевых шубах и бросали друг на друга загадочные взгляды. В соседней витрине дам было уже двенадцать. Они стояли в спортивных костюмах, опершись на лыжные палки. Глаза у них были синие, губы красные, а уши розовые. В других витринах стояли молодые манекены с седыми волосами или чистошерстные восковые господа в недорогих, подозрительно прекрасных костюмах. Но мы не обращали внимания на все это магазинное счастье. Другое нас поразило.

Во всех больших городах мира всегда можно найти место, где люди смотрят в телескоп на луну. Здесь, на 42-й, тоже стоял телескоп. Он помещался на автомобиле.

Телескоп был направлен в небо. Заведовал им обыкновенный человек, такой же самый, какого можно увидеть у телескопа в Афинах, или в Неаполе, или в Одессе. И такой же у него был нерадостный вид, какой имеют эксплуататоры уличных телескопов во всем мире.

Луна виднелась в промежутке между двумя шестидесятиэтажными домами. Но любопытный, прильнувший к трубе, смотрел не на луну, а гораздо выше, — он смотрел на вершину «Эмпайр-стейт-билдинг», здания в сто два этажа. В свете луны стальная вершина «Эмпайра» казалась покрытой снегом. Душа холодела при виде благородного, чистого здания, сверкающего, как брус искусственного льда. Мы долго стояли здесь, молча задрвав головы. Нью-Йоркские небоскребы вызывают чувство гордости за людей науки и труда, построившие эти великолепные здания.

Хрипло ревели газетчики. Земля дрожала под ногами, и из решеток в тротуаре внезапно тянуло жаром, как из машинного отделения. Это пробегал под землей поезд нью-йоркского метро — сабвея, как он здесь называется.

Из каких-то люков, вделанных в мостовую и прикрытых круглыми металлическими крышками, пробивался пар. Мы долго не могли понять, откуда этот пар берется. Красные огни реклам бросали на него оперный свет. Казалось, вот-вот люк раскроется и оттуда вылезет Мефистофель и, откашлявшись, запоет басом прямо из «Фауста»: «При шпаге я, и шляпа с пером, и денег много, и плащ мой драгоценен».

И мы снова устремились вперед, оглушенные криком газетчиков. Они режут так отчаянно, что, по выражению Лескова, надо потом целую неделю голосоплатой выгребать.

Нельзя сказать, что освещение 42-й улицы было посредственным. И все же Бродвей, освещенный миллионами, а может быть, и миллиардами электрических лампочек, наполненный вертящимися и прыгающими рекламами, устроенными из целых километров цветных газосветных трубок, возник перед нами так же неожиданно, как сам Нью-Йорк возникает из беспредельной пустоты Атлантического океана.

Мы стояли на самом популярном углу в Штатах, на углу 42-й и Бродвея. «Великий Белый Путь», как американцы титулуют Бродвей, расстилался перед нами.

Здесь электричество низведено (или поднято, если хотите) до уровня дрессированного животного в цирке. Здесь его заставили кривляться, прыгать через препятствия, подмигивать, отплясывать. Спокойное эдисоновское электричество превратили в дуровского морского льва. Оно ловит носом мячи, жонглирует, умирает, оживает, делает все, что ему прикажут. Электрический парад никогда не прекращается. Огни реклам вспыхивают, вращаются и гаснут, чтобы сейчас же снова засверкать; буквы, большие и маленькие, белые, красные и зеленые, бесконечно убегают куда-то, чтобы через секунду вернуться и возобновить свой неистовый бег.

На Бродвее сосредоточены театры, кинематографы и дансинги города. Десятки тысяч людей движутся по тротуарам. Нью-Йорк — один из немногих городов мира, где население гуляет на определенной улице. Подъезды кино освещены так, что, кажется, прибавь еще одну лампочку — и все взорвется от чрезмерного света, все пойдет к чертям собачьим. Но эту лампочку некуда было бы воткнуть, нет места. Газетчики поднимают такой вой, что на выгребание голоса нужна уже не неделя, нужны годы упорного труда. Высоко в небе, на каком-то несчитаном этаже небоскреба «Парамаунт», пылает электрический циферблат. Не видно ни звезд, ни луны. Свет реклам затмевает все. Молчаливым потоком несутся автомобили. В витринах среди клетчатых галстуков вертятся и даже делают салты маленькие светящиеся ярлыки с ценами. Это уже микроорганизмы в космосе бродвейского электричества. Среди ужасного галдежа спокойный нищий играет на саксофоне. Идет в театр джентльмен в цилиндре, и рядом с ним обязательно дама в вечернем платье с хвостом. Как лунатик, движется слепец со своей собакой-поводырем. Некоторые молодые люди прогуливаются без шляп. Это модно. Сверкают под фонарями гладко зачесанные волосы. Пахнут сигарами, и дрянными и дорогими.

В ту самую минуту, когда мы подумали о том, как далеко мы теперь от Москвы, перед нами заструились огни кинематографа «Камео». Там показывали советский фильм «Новый Гулливер».

Бродвейский прибор протасил нас несколько раз взад и вперед и выбросил на какую-то боковую улицу.

Мы ничего еще не знали о городе. Поэтому здесь не будет названий улиц. Помнится только, что мы стояли где-то под эстакадой надземной железной дороги. Мимо проходил автобус, и мы, не думая, вскочили в него.

Даже много дней спустя, когда мы научились уже разбираться в нью-йоркском водовороте, мы не могли вспомнить, куда отвез нас автобус в тот первый вечер. Кажется, это был китайский район. Но возможно, что это был итальянский район или еврейский.

Мы шли по узким, вонючим улицам. Нет, электричество здесь было обыкновенное, не дрессированное. Оно довольно тускло светило и не делало никаких прыжков. Громадный полицейский стоял, прислонившись к стене дома. Над его широким повелительным лицом сиял на фуражке серебряный герб города Нью-Йорка. Заметив неуверенность, с которой мы шли по улице, он направился к нам навстречу, но, не получив вопроса, снова занял свою позицию у стены, величавый и подтянутый представитель порядка.

Из одного дрянного домишка доносилось скучное-прескучное пение. Человек, стоявший у входа в домик, сказал, что это ночлежный дом Армии спасения.

— Кто может ночевать здесь?

— Каждый. Никто не спросит его фамилии, никто не будет интересоваться его занятиями и его прошлым. Ночлежники получают здесь бесплатно постель, кофе и хлеб. Утром тоже кофе и хлеб. Потом они могут уйти. Единственное условие — надо принять участие в вечерней и утренней молитве.

Пение, доносившееся из дома, свидетельствовало о том, что сейчас выполняется это единственное условие. Мы вошли внутрь.

Раньше, лет двадцать пять тому назад, в этом помещении была китайская курильня опиума. Это был грязный и мрачный притон. С тех пор он стал чище, но, потеряв былую экзотичность, не сделался менее мрачным. В верхней части бывшего притона шло моление, внизу помещалась спальня — голые стены, голый каменный пол, парусиновые походные кровати. Пахло плохим кофе и сыростью, которой всегда отдает лазаретно-благотворительная чистота. В общем, это было горьковское «На дне» в американской постановке.

В обшарпанном зале, на скамьях, спускавшихся амфитеатром к небольшой эстраде, остолбенело сидели двести ночлежников. Только что кончилось пение, начался следующий номер программы.

Между американским национальным флагом, стоявшим на эстраде, и развешанными по стенам библейскими текстами прыгал, как паяц, румяный старик в черном костюме. Он говорил и жестикулировал с такой страстью, будто что-то продавал. Между тем он рассказывал поучительную историю своей жизни — о благодетельном переломе, который произошел с ним, когда он обратился сердцем к богу.

Он был бродягой («таким же ужасным бродягой, как вы, старые черти!»), он вел себя отвратительно, богохульствовал («вспомните свои привычки, друзья мои!»), воровал, — да, все это было, к сожалению. Теперь с этим покончено. У него есть теперь свой дом, он живет как порядочный человек («бог нас создал по своему образу и подобию, не так ли?»). Недавно он даже купил себе радиоприемник. И все это он получил непосредственно с помощью бога.

Старик ораторствовал с необыкновенной развязностью и, как видно, выступал уже в тысячный раз, если не больше. Он прищелкивал пальцами, иногда хрипло хохотал, пел духовные куплеты и закончил с большим подъемом: — Так споемте же, братья!

Снова раздалось скучное-прескучное пение.

Ночлежники были страшны. Почти все они были уже не молоды. Небритые, с потухшими глазами, они покачивались на своих грубых скамьях. Они пели покорно и лениво. Некоторые не смогли превозмочь дневной усталости и спали.

Мы живо представили себе скитания по страшным местам Нью-Йорка, дни, проведенные у мостов и пакгаузов, среди мусора, в вековечном тумане человеческого падения. Сидеть после этого в ночлежке и распевать гимны было пыткой.

Потом перед аудиторией предстал дядя, пышущий полицейским здоровьем. У него был ведевильный лиловатый нос и голос шкипера.

Он был развязен до последней степени. Снова начался рассказ о пользе обращения к богу. Шкипер, оказывается, тоже когда-то был порядочным греховодником. Фантазия у него была небольшая, и он кончил заявлением, что вот теперь, благодаря божьей помощи, он тоже имеет радиоприемник.

Опять пели. Шкипер махал руками, показывая немалый капельмейстерский опыт. Двести человек, размолотых жизнью в порошок, снова слушали эту бессовестную болтовню. Нищим людям не предлагали работы, им предлагали только бога, злого и требовательного, как черт.

Ночлежники не возражали. Бог с чашкой кофе и куском хлеба — это еще приемлемо. Споемте же, братья, во славу кофейного бога!

И глотки, которые уже полвека извергали только ужасную ругань, сонно заревели во славу господ.

Мы снова шагали по каким-то трущобам и опять не знали, где мы. С молниями и громом мчались поезда по железным эстакадам надземной железной дороги. Молодые люди в светлых шляпах толпились у аптеки, перебрасываясь короткими фразами. Манеры у них были точь-в-точь такие же, как у молодых людей, обитающих в Варшаве на Крохмальной улице. В Варшаве считается, что джентльмен с Крохмальной — это не бог весть какое сокровище. Хорошо, если просто вор, а то, может быть, и хуже.

Поздно ночью мы вернулись в отель, не разочарованные Нью-Йорком и не восхищенные им, а скорее всего встревоженные его громадностью, богатством и нищетой.

### Глава III

#### ЧТО МОЖНО УВИДЕТЬ ИЗ ОКНА ГОСТИНИЦЫ

Первые часы в Нью-Йорке — прогулка по ночному городу, а затем возвращение в гостиницу — навсегда сохранятся в памяти, словно какое-то событие.

А ведь, в сущности, ничего особенного не произошло.

Мы вошли в очень простой мраморный вестибюль гостиницы. Справа, за гладким деревянным барбером, работали два молодых конторщика. У обоих были бледные, отлично выбритые щеки и узкие черные усики. Дальше сидела кассирша за автоматической счетной машиной. Слева помещался табачный киоск. Под стеклом прилавка тесно лежали раскрытые деревянные коробки с сигарами. Каждая сигара была завернута в прозрачную блестящую бумагу, причем красные с золотом сигарные колечки были надеты поверх бумаги. На белой блестящей поверхности откинутых крышек были изображены старомодные толстоусые красавцы с розовыми щеками, золотые и серебряные медали, ордена, зеленые пальмы и негрятинки, собирающие табак. В углах крышек стояла цена: пять, десять или пятнадцать центов за штуку. Или пятнадцать центов за две штуки, или десять за три. Еще более тесно, чем сигары, лежали маленькие плотные пачки сигарет в мягких пакетиках, тоже обернутых в прозрачную бумагу. Больше всего американцы курят «Лаки Страйк», в темно-зеленой обертке с красным кругом посредине, «Честерфилд», в белой обертке с золотой надписью, и «Кэмел» — желтая пачка с изображением коричневого верблюда.

Всю стену напротив входа в вестибюль занимали просторные лифты с золочеными дверцами. Дверцы раскрывались то справа, то слева, то посредине, а из лифта, держась рукой за железный рычаг, открывающий дверь, высовывался негр в светлых штанах с золотым лампасом и в зеленой куртке с витыми погончиками. Подобно тому как на Северном вокзале в Москве радиорепродуктор сообщает дачникам, что ближайший поезд идет без остановок до Мытищ, а дальше останавливается везде, — здесь негры сообщали, что лифт идет только до шестнадцатого этажа либо до самого тридцать второго, с первой остановкой опять-таки на шестнадцатом этаже. Впоследствии мы поняли эту небольшую хитрость администрации: на шестнадцатом этаже помещается ресторан и кафетерий.

Мы вошли в лифт, и он помчался кверху. Лифт останавливался, негр открывал дверцу, кричал: «Ап!» («Вверх!»), пассажиры называли номер своего этажа. Вошла женщина. Тогда все мужчины сняли шляпы и дальше ехали без шляп. Мы сделали то же самое. Это был первый американский обычай, с которым мы познакомились. Но знакомство с обычаями чужой страны дается не так-то легко и почти всегда сопровождается конфузом. Как-то, через несколько дней, мы подымались в лифте к нашему издателю. Вошла женщина, и мы с поспешностью старых, опытных ньюйоркцев сняли шляпы. Однако остальные мужчины не последовали нашему рыцарскому примеру и даже посмотрели на нас с любопытством. Оказалось, что шляпы нужно снимать только в частных и гостиничных лифтах. В тех зданиях, где люди делают бизнес, можно оставаться в шляпах.

На двадцать седьмом этаже мы вышли из лифта и по узкому коридору направились к своему номеру. Огромные второклассные нью-йоркские отели в центре города строятся чрезвычайно экономно, — коридоры узкие, комнаты хотя и дорогие, но маленькие, потолки стандартной высоты, то есть невысокие. Заказчик ставит перед строителем задачу — втиснуть в небоскреб как можно больше комнат. Однако эти маленькие комнаты очень чисты и комфортабельны. Там всегда есть горячая и холодная вода, душ, почтовая бумага,

телеграфные бланки, открытки с изображением отеля, бумажные мешки для грязного белья и печатные бланки, где остается только проставить цифры, указывающие количество белья, отдаваемого в стирку. Стирают в Америке быстро и необыкновенно хорошо. Выглаженные рубашки выглядят лучше, чем новые в магазинной витрине. Каждую из них вкладывают в бумажный карман, опоясывают бумажной лентой с маркой прачечного заведения и аккуратно закалывают булавочками рукава. Кроме того, белье из стирки приходит зачиненным, носки — заштопанными. Комфорт в Америке вовсе не признак роскоши. Он стандартен и доступен.

Войдя в номер, мы принялись отыскивать выключатель и долгое время никак не могли понять, как здесь включается электричество. Мы бродили по комнатам сперва впотьмах, потом жгли спички, обшарили все стены, исследовали двери и окна, но выключателей нигде не было. Несколько раз мы приходили в отчаяние и садились отдохнуть в темноте. Наконец нашли. Возле каждой лампочки висела короткая тонкая цепочка с маленьким шариком на конце. Дернешь за такую цепочку — и электричество зажжется. Снова дернешь — потухнет. Постели не были приготовлены на ночь, и мы стали искать кнопку звонка, чтобы позвонить горничной. Кнопки не было. Мы искали ее повсюду, дергали за все подозрительные шнуры, но это не помогло. Тогда мы поняли, что служащих надо вызывать по телефону. Мы позвонили к портье и вызвали горничную. Пришла негрityанка. Вид у нее был довольно испуганный, а когда мы попросили приготовить постели, ее испуг только увеличился. Постели она все-таки приготовила, но выражение лица у нее было такое, будто она занималась явно незаконным делом. При этом она все время говорила: «Иэс, сэр». За короткое время пребывания в номере она произнесла «иэс, сэр» раз двести. Потом мы узнали, что в отелях постели приготавливают сами постояльцы, и наш ночной сигнал явился беспрецедентным событием в истории гостиницы.

В комнатах стояла мебель, которую впоследствии мы видели во всех без исключения отелях Америки — на Востоке, Западе или Юге. На Севере мы не были. Но есть все основания предполагать, что и там мы нашли бы точь-в-точь такую же нью-йоркскую мебель: коричневый комодик с зеркалом, металлические, ловко выкрашенные под дерево кровати, несколько мягких стульев, кресло-качалка и переносные штепсельные лампы на очень высоких тонких ножках с большими картонными абажурами.

На комодке мы нашли толстенную книгу в черном переплете. На книге стояла золотая марка отеля. Книга оказалась Библией. Этот старинный труд был приспособлен для деловых людей, время которых чрезвычайно ограничено. На первой странице было оглавление, специально составленное заботливой администрацией отеля:

«Для успокоения душевных сомнений — страница такая-то, текст такой-то.

При семейных неприятностях — страница такая-то, текст такой-то.

При денежных затруднениях — страница, текст.

Для успеха в делах — страница, текст».

Эта страница была немного засалена.

Мы отворили окна. Здесь они отворяются тоже на американский манер, совсем не так, как в Европе. Их надо подымать, как окно в вагоне железной дороги.

Наши комнатки выходили окнами на три стороны. Внизу лежал ночной Нью-Йорк.

Что может быть заманчивей огней чужого города, тесно заполнивших весь этот обширный чужой мир, который улегся спать на берегу Атлантического океана! Оттуда, со стороны океана, дул теплый ветер. Совсем вблизи возвышались несколько небоскребов. Казалось, до них нетрудно дотянуться рукой. Их освещенные окна можно было пересчитать. Дальше огни становились все гуще. Среди них были особенно яркие, протянувшиеся прямыми, иногда чуть изогнутыми цепочками (вероятно, уличные фонари). Еще дальше сверкал

сплошной золотой припорох мелких огней, потом шла темная, неосвещенная полоска (Гудзон? Или, может быть, Восточная река?). И опять — золотые туманности районов, созвездия неведомых улиц и площадей. В этом мире огней, который сперва казался остановившимся, можно было заметить некоторое движение. Вот по реке медленно прошел красный огонек катера. По улице проехал очень маленький автомобиль. Иногда вдруг где-то на том берегу реки, мигнув, потухал крохотный, как частица пыли, огонек. Наверно, один из семи миллионов нью-йоркских жителей лег спать, потушив свет. Кто он? Клерк? Или служащий надземной дороги? А может быть, легла спать одинокая девушка-продащица (их так много в Нью-Йорке). И сейчас, лежа под двумя тонкими одеялами, взволнованная пароходными гудками с Гудзона, она видит в своих мечтах миллион долларов (\$ 1 000 000?).

Нью-Йорк спал, и миллионы электрических ламп сторожили его сон. Спали выходцы из Шотландии, из Ирландии, из Гамбурга и Вены, из Ковно и Белостока, из Неаполя и Мадрида, из Техаса, Дакоты и Аризоны, спали выходцы из Латинской Америки, из Австралии, Африки и Китая. Спали черные, белые и желтые люди. Глядя на чуть колеблющиеся огни, хотелось поскорее узнать: как работают эти люди, как развлекаются, о чем мечтают, на что надеются, что едят?

Наконец, совершенно обессиленные, улеглись и мы. Для первого дня впечатлений оказалось слишком много. Нью-Йорк невозможно поглощать в таких больших дозах. Это ужасное и в то же время приятное ощущение, когда тело лежит на удобной американской кровати в состоянии полного покоя, а мысль продолжает качаться на «Нормандии», ехать в свадебной каретке такси, бежать по Бродвею, продолжает путешествовать.

Утром, проснувшись на своем двадцать седьмом этаже и выглянув в окно, мы увидели Нью-Йорк в прозрачном утреннем тумане.

Это была, что называется, мирная деревенская картинка. Несколько белых дымок подымались в небо, а к шпилю небольшой двадцатизэтажной избушки был даже прикреплен идиллический цельнометаллический петушок. Шестидесятиэтажные небоскребы, которые вчера вечером казались такими близкими, были отделены от нас по крайней мере десятком красных железных крыш и сотней высоких труб и слуховых окон, среди которых висело белое и бродило обыкновенные коты. На брандмауэрах виднелись рекламные надписи. Стены небоскребов были полны кирпичной скуки. Большинство зданий Нью-Йорка выложено из красного кирпича.

Нью-Йорк открывался сразу в нескольких плоскостях. Самую верхнюю плоскость занимали главы небоскребов, более высоких, чем наш. Они были увенчаны шпилями, стеклянными или золотыми куполами, горевшими на солнце, либо башенками с большими часами. Башенки тоже были с четырехэтажный дом. На следующей плоскости, целиком открытой нашему взору, кроме труб, слуховых окон и котов, можно было увидеть плоские крыши, на которых помещался небольшой одноэтажный домик с садиком, чахлыми деревьями, кирпичными аллеями, фонтанчиком и дачными соломенными креслами. Здесь можно чудесно, почти как на Клязьме, провести время, вдыхая бензиновый запах цветочков и прислушиваясь к мелодичному вою надземной железной дороги. Она занимала следующую плоскость города Нью-Йорка. Линии надземки стоят на железных столбах и проходят на уровне вторых и третьих этажей и лишь в некоторых местах города повышаются до пятых и шестых. Это странное сооружение время от времени издает ужасающий грохот, от которого стынет мозг. От него здоровые люди становятся нервными, нервные — сходят с ума, а сумасшедшие прыгают в своих пробковых комматках и режут, как лвы. Чтобы увидеть последнюю основную плоскость — плоскость улиц, нужно было перегнуться из окна и заглянуть вниз под прямым углом. Там, как в перевернутый бинокль, был виден перекресток с маленькими автомобилями, пешеходами, брошенными на асфальт газетами и



даже двумя рядами блестящих пуговиц, укрепленных в том месте, где проходчик разрешается переходить улицу.

Из другого окна виднелась река Гудзон, отделяющая штат Нью-Йорк от штата Нью-Джерси. Дома, доходящие до Гудзона, принадлежат городу Нью-Йорку, а дома на той стороне реки — городу Джерси-сити. Нам сказали, что это странное на первый взгляд административное деление имеет свои удобства. Можно, например, жить в одном штате, а работать в другом. Можно также заниматься спекуляциями в Нью-Йорке, а налоги платить в Джерси. Там они, кстати, не так велики. Это как-то скрашивает серую, однообразную жизнь биржевика. Можно жениться в Нью-Йорке, а в Нью-Джерси развестись. Или наоборот. Смотря по тому, где закон о разводе мягче или где бракоразводный процесс стоит дешевле. Мы, например, покупая автомобиль, для того чтобы совершить на нем путешествие по стране, — застраховали его в Нью-Джерси, что и стоило на несколько долларов меньше, чем в Нью-Йорке.

#### *Глава IV*

### АППЕТИТ УХОДИТ ВО ВРЕМЯ ЕДЫ

Человек, впервые приехавший, может безбоязненно покинуть свой отель и углубиться в нью-йоркские дебри. Заблудиться в Нью-Йорке трудно, хотя многие улицы удивительно похожи друг на друга. Секрет прост. Улицы делятся на два вида: продольные — авеню и поперечные — стриты. Так распланирован остров Манхэттен. Параллельно друг другу идут Первая, Вторая и Третья авеню. Дальше, параллельно им, — Лексингтон-авеню, Четвертая авеню, продолжение которой от Центрального вокзала носит название Парк-авеню (это улица богачей), Медисон-авеню, торговая красивая Пятая авеню, Шестая, Седьмая и так далее. Пятая авеню делит город на две части — Восток и Запад. Все эти авеню (а их немного) пересекают стриты, которых несколько сот. И если авеню имеют какие-то отличительные признаки (одни шире, другие уже, над Третьей и Седьмой проходит надземка, на Парк-авеню посередине разбит газон, на Пятой авеню высятся «Эмпайр-стейт-билдинг» и «Радио-сити»), то стриты совсем уже схожи друг с другом, и их едва ли может отличить по внешним признакам даже старый нью-йоркский житель.

Нью-йоркскую геометрию нарушает извилистый Бродвей, пересекающий город вкось и протянувшийся на несколько десятков километров.

Основные косяки пешеходов и автомобилей движутся по широким авеню. Под ними проложены черные и сырые, как угольные шахты, четырехколейные тоннели сабвея. Над ними гремит железом «элевейтед» (надземка). Тут есть все виды транспорта — и несколько старомодные двухэтажные автобусы и трамваи. Вероятно, в Киеве, уничтожившем трамвайное движение на главной улице, очень удивились бы, узнав, что трамвай ходит даже по Бродвею — самой оживленной улице в мире. Горе человеку, которому необходимо проехать город не вдоль, а поперек и которому к тому же взбрела в голову безумная идея — взять для этой цели такси-кеб. Такси сворачивает на стрит и сразу попадает в хроническую пробку. Покуда полицейские гонят фыркающее автомобильное стадо по длиннейшим авеню, в грязноватых узких стритах собираются негодующие полчища неудачников и безумцев, проезжающих город не вдоль, а поперек. Очередь вытягивается на несколько кварталов, шоферы ерзают на своих сиденьях, пассажиры нетерпеливо высовываются из окон и, откинувшись назад, в тоске разворачивают газеты.

Трудно поверить, но какие-нибудь семьдесят лет тому назад на углу Пятой авеню и 42-й улицы, на том месте, где за пять минут скопится такое количество автомобилей, какого нет во всей Польше, стоял деревянный постоялый



двор, выставивший к сведению мистеров проезжающих два многозначительных плаката:

НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ЛОЖИТЬСЯ В ПОСТЕЛЬ В САПОГАХ

и

ЗАПРЕЩЕНО ЛОЖИТЬСЯ В ОДНУ ПОСТЕЛЬ БОЛЬШЕ  
ЧЕМ ШЕСТИ ПОСТОЯЛЬЦАМ

Мы вышли из гостиницы, чтобы где-нибудь позавтракать, и вскоре очутились на 42-й улице. Первые дни в Нью-Йорке, куда бы мы ни шли, мы обязательно попадали на 42-ю улицу.

В толпе, которая несла нас, слышались обрывки быстрой нью-йоркской речи, вероятно чуждой не только московскому, но и лондонскому уху. У стен сидели мальчишки — чистильщики сапог, отбарабанивая щетками на своих грубо сколоченных деревянных ящиках призывную дробь. Уличные фотографии нацеливались «лейками» в прохожих, выбирая преимущественно кавалеров с дамами и провинциалов. Спустив затвор, фотограф подходил к объекту нападения и вручал печатный адрес своего ателье. За двадцать пять центов сфотографированный прохожий может получить свою карточку, прекрасную карточку, где он снят врасплох, с поднятой ногой.

Под закопченными пролетами моста, в тени которого блестела грязь, оставшаяся после прошедшего ночью дождя, стоял человек в сдвинутой набок шляпе и расстегнутой рубашке и произносил речь. Вокруг него собралось десятка два любопытных. Это был пропагандист идей убитого недавно в Луизиане сенатора Хью Лонга. Говорил он о разделении богатств. Слушатели задавали вопросы. Он отвечал. Казалось, главной задачей его было рассмешить аудиторию.

Неподалеку от него, на солнечном тротуаре, остановилась толстая негр-тянка из Армии спасения, в старомодной шляпе и стоптанных башмаках. Она вынула из чемоданчика звонок и громко зазвонила. Чемоданчик она положила прямо на тротуар, у своих ног. Подождя, пока несколько почитателей покойного сенатора перекочевывали к ней, шурясь от солнца, она принялась что-то кричать, закатывая глаза и ударяя себя по толстой груди. Мы прошли несколько кварталов, а крик негр-тянки все еще отчетливо слышался в слитном шуме беспокойного города.

Перед магазином готового платья спокойно прогуливался человек. На спине и на груди он нес два одинаковых плаката: «Здесь бастуют». На следующей улице шагали взад и вперед еще несколько пикетчиков. Над большой витриной углового магазина, несмотря на солнечное утро, светились синие электрические буквы — «Кафетерий». Кафетерий был большой, очень светлый и очень чистый. У стен стояли стеклянные прилавки, заставленные красивыми, аппетитными кушаньями. Слева от входа находилась касса. Справа — металлическая тумбочка с небольшим поперечным разрезом, как у копилки. Из разреза торчал кончик синего картонного билетика. Все входящие дергали за такой кончик. Дернули и мы. Раздался мелодичный удар колокола. В руках оказался билет, а из разреза копилки выскочил новый синий кончик. Далее мы принялись делать то же, что ньюйоркцы, прибывавшие в кафетерий наскоро позавтракать. Мы сняли со специального столика по легкому коричневому подносу, положили на них вилки, ложки, ножи и бумажные салфетки и, чувствуя себя крайне неловко в толстых пальто и шляпах, подошли к правому краю застекленного прилавка. Вдоль прилавка во всю его длину шли три ряда никелированных трубок, на которые было удобно класть поднос, а затем, по мере того как он заполняется блюдами, толкать его дальше. Прилавок, собственно, представлял собой огромную скрытую электрическую плиту. Тут грелись супы, куски жаркого, различной толщины и длины сосиски, окорока, рулеты, картофельное пюре, картофель жареный и вареный и сделанный в

виде каких-то шариков, маленькие клубочки брюссельской капусты, шпинат, морковь и еще множество различных гарниров.

Белье повара в колпаках и густо нарумяненные и завитые, очень опрятные девушки в розовых наколках выкладывали на стеклянную поверхность прилавка тарелки с едой и пробивали компостером в билетике цифру, обозначающую стоимость блюда. Дальше шли салаты и винегреты, различные закуски, рыбные майонезы, заливные рыбы. Затем хлеб, сдобные булки и традиционные круглые пироги с яблочной, земляничной и ананасной начинкой. Тут выдавали кофе и молоко. Мы подвигались вдоль прилавка, подталкивая поднос. На толстом слое струганого льда лежали тарелочки с компотами и мороженым, апельсины и разрезанные пополам грейпфруты, стояли большие и маленькие стаканы с соками. Упорная реклама приучила американцев пить соки перед первым и вторым завтраком. В соках есть витамины, что весьма полезно для потребителей, а продажа соков полезна для фруктовожиров. Мы быстро привыкли к этому американскому обычаю. Сперва пили густой желтый апельсиновый сок. Потом перешли на прозрачный зеленый сок грейпфрута. Потом стали есть перед едой самый грейпфрут (его посыпают сахаром и едят ложечкой; по вкусу он напоминает немножко апельсин, немножко лимон, но он еще сочнее, чем эти фрукты). И наконец, с опаской, не сразу, начали пить обыкновенный помидорный сок, предварительно поперчив его. Он оказался самым вкусным и освежающим и больше всего подошел к нашим южнорусским желудкам. Единственно, к чему мы так и не приучились в Америке, — это есть перед обедом дыню, которая занимает почетное место в числе американских закусок.

Посредине кафетерия стояли деревянные полированные столики без скатертей и вешалки для одежды. Желавшие могли класть шляпы также под стул, на специальную жердочку. На столах были расставлены бутылочки с маслом, уксусом, томатным соусом и различными острыми приправами. Был и сахарный песок в стеклянном флаконе, устроенном на манер перечницы, с дырочками в металлической пробке.

Расчет с посетителями прост. Каждый, покидающий кафетерий, рано или поздно должен пройти мимо кассы и предъявить билетик с выбитой на нем суммой. Тут же, в кассе, продаются папиросы и можно взять зубочистку.

Процесс еды был так же превосходно рационализирован, как производство автомобилей или пищевых машинок.

Еще дальше кафетериев по этому пути пошли автоматы. Имея примерно ту же внешность, что и кафетерии, они довели процесс проталкивания пищи в американские желудки до виртуозности. Стены автомата сплошь заняты стеклянными шкафчиками. Возле каждого из них шель для опускания «никеля» (пятицентовой монеты). За стеклом печально стоит тарелка с супом, или мясом, или стакан с соком, или пирог. Несмотря на сверкание стекла и металла, лишённые свободы сосиски и котлеты производят какое-то странное впечатление. Их жалко, как кошек на выставке. Человек опускает никель, получает возможность отворить дверцу, вынимает суп, несет его на свой столик и там съедает, опять-таки положив шляпу под стул на специальную жердочку. Потом человек подходит к крану, опускает никель, и из крана в стакан течет ровно столько кофе с молоком, сколько полагается. Чувствуется в этом что-то обидное, оскорбительное для человека. Начинаешь подозревать, что хозяин автомата оборудовал свое заведение не для того, чтобы сделать обществу приятный сюрприз, а чтобы уволить со службы бедных завитых девушек в розовых наколках и заработать еще больше долларов.

Но автоматы не так уж популярны в Америке. Видно, и сами хозяева чувствуют, что где-то должен быть предел всякой рационализации. Поэтому всегда переполнены нормальные ресторанчики для небогатых людей, принадлежащие могучим трестам. Самый популярный из них — «Чайльдз» — стал в Америке отвлеченным понятием недорогой и доброкачественной еды. «Он обедает у Чайль-

дза». Это значит — он зарабатывает тридцать долларов в неделю. Можно, находясь в любой части Нью-Йорка, сказать: «Пойдем пообедаем к Чайльдзу», — до Чайльдза не придется идти больше десяти минут. Дают у Чайльдза такую же чистенькую, красивую пищу, как в кафетерии или автомате. Только там у человека не отнимают маленького удовольствия посмотреть меню, сказать «гм», спросить у официантки, хороша ли телятина, и получить в ответ: «Иэс, сэ!»

Вообще Нью-Йорк замечателен тем, что там есть все. Там можно найти представителя любой нации, можно добыть любое блюдо, любой предмет — от вышитой украинской рубашки до китайской палочки с костяным наконечником в виде руки, которой чешут спину, от русской икры и водки — до чилийского супа или китайских макарон. Нет таких деликатесов мира, которых не мог бы предложить Нью-Йорк. Но за все это надо платить доллары. А мы хотим говорить о подавляющем большинстве американцев, которые могут платить только центы и для которых существуют Чайльдз, кафетерий и автомат. Описывая эти заведения, мы можем смело сказать — так питается средний американец. Под этим понятием среднего американца подразумевается человек, который имеет приличную работу и приличное жалование и который с точки зрения капитализма являет собою пример здорового, процветающего американца, счастливого и оптимиста, получающего все блага жизни по сравнительно недорогой цене.

Блистательная организация ресторанного дела как будто подтверждает это. Идеальная чистота, доброкачественность продуктов, огромный выбор блюд, минимум времени, затрачиваемого на обед, — все это так. Но вот беда: вся эта красиво приготовленная пища довольно безвкусна, как-то обесцвечена во вкусовом отношении. Она не опасна для желудка, может быть, даже полезна, но она не доставляет человеку никакого удовольствия. Когда выбираешь себе в шкафу автомата или на прилавке кафетерия аппетитный кусок жаркого и потом ешь его за своим столиком, засунув шляпу под стул, чувствуешь себя, как покупатель ботинок, которые оказались более красивыми, чем прочными. Американцы к этому привыкли. Они едят очень быстро, не задерживаясь за столом ни одной лишней минуты. Они не едят, а запрокидывают еду, как мотор бензином. Французский обжора, который может просидеть за обедом четыре часа, с восторгом прожевывая каждый кусок мяса, запивая его вином и долго смакуя каждый глоточек кофе с коньяком, — это, конечно, не идеал человека. Но американский холодный едок, лишенный естественного человеческого стремления — получить от еды какое-то удовольствие, вызывает удивление.

Мы долго не могли понять, почему американские блюда, такие красивые на вид, не слишком привлекают своим вкусом. Сперва мы думали, что там просто не умеют готовить. Но потом узнали, что не только в этом дело, что дело в самой организации, в самой сущности американского хозяйства. Американцы едят ослепительно белый, но совершенно безвкусный хлеб, мороженое мясо, соленое масло, консервы и недозревшие помидоры.

Как же получилось, что богатейшая в мире страна, страна хлебопашцев и скотоводов, золота и удивительной индустрии, страна, ресурсы которой достаточны, чтоб создать у себя рай, не может дать народу вкусного хлеба, свежего мяса, сливочного масла и зрелых помидоров?

Мы видели под Нью-Йорком пустыри, заросшие бурьяном, заглохшие куски земли. Здесь никто не сеял хлеба, не заводил скота. Мы не видели здесь ни насадок с цыплятами, ни огородов.

— Видите ли, — сказали нам, — это просто не выгодно. Здесь невозможно конкурировать с монополистами с Запада.

Где-то в Чикаго на бойнях били скот и везли его по всей стране в замороженном виде. Откуда-то из Калифорнии тащили охлажденных кур и зеленые помидоры, которым полагалось созревать в вагонах. И никто не смел вступить в борьбу с могущественными монополистами.

Сидя в кафетерии, мы читали речь Микояна о том, что еда в социалистической стране должна быть вкусной, что она должна доставлять людям радость, читали как поэтическое произведение.

Но в Америке дело народного питания, как и все остальные дела, построено на одном принципе — выгодно или невыгодно. Под Нью-Йорком невыгодно разводить скот и устраивать огороды. Поэтому люди едят мороженое мясо, соленое масло и недозревшие помидоры. Какому-то дельцу выгодно продавать жевательную резинку — и народ приучили к этой жвачке. Кино выгоднее, чем театр. Поэтому кино разрослось, а театр в загоне, хотя в культурном отношении американский театр гораздо значительнее, чем кино. Элеветед приносит доход какой-то компании. Поэтому ньюйоркцы превратились в мучеников. По Бродвею в великой тесноте с адским жваксом ползет трамвай только потому, что это выгодно одному человеку — хозяину старинной трамвайной компании.

Мы все время чувствовали непреодолимое желание жаловаться и, как свойственно советским людям, вносить предложения. Хотелось писать в советский контроль, и в партийный контроль, и в ЦК, и в «Правду». Но жаловаться было некому. А «книги для предложений» в Америке не существует.

### Глава V

## МЫ ИЩЕМ АНГЕЛА БЕЗ КРЫЛЬЕВ

Время шло. Мы все еще находились в Нью-Йорке и не знали, когда и куда поедем дальше. Между тем наш план включал путешествие через весь материк, от океана до океана.

Это был очень красивый, но, в сущности, весьма неопределенный план. Мы составили его еще в Москве и горячо обсуждали всю дорогу.

Мы исходили десятки километров по сыроватым от океанских брызг палубам «Нормандии», споря о подробностях этого путешествия и сыпая друг друга географическими названиями. За обедом, попивая чистое и слабое вино из подвалов Генеральной трансатлантической компании, которой принадлежит «Нормандия», мы почти бессмысленно бормотали: «Калифорния», «Техас» или что-нибудь такое же красивое и заманчивое.

План поражал своей несложностью. Мы приезжаем в Нью-Йорк, покупаем автомобиль и едем, едем, едем — до тех пор, пока не приезжаем в Калифорнию. Потом поворачиваем назад и едем, едем, едем, пока не приезжаем в Нью-Йорк. Все было просто и чудесно, как в андерсеновской сказке. «Тра-та-та», — звучит клаксон, «тру-ту-ту», — стучит мотор, мы едем по прерии, мы переваливаем через горные хребты, мы поим нашу верную машину ледяной кордильерской водой, и великое тихоокеанское солнце бросает ослепительный свет на наши загорелые лица.

В общем, понимаете сами, мы немножко тронулись и рычали друг на друга, как цепные собаки: «Сьерррра-Невада», «Скалистые горрры» и тому подобное.

Когда же мы ступили на американскую почву, все оказалось не так просто и не так романтично.

Во-первых, Техас называется не Техас, а Тёккас. Но это еще полбеды.

Против покупки автомобиля никто из наших новых друзей в Нью-Йорке не выдвигал возражений. Путешествие в своей машине — это самый дешевый и интересный способ передвижения по Штатам. Железная дорога обойдется в несколько раз дороже. Кроме того, нельзя смотреть Америку из окна вагона, не писательское дело так поступать. Так что насчет автомобиля все наши предположения были признаны верными. Задержка была в человеке, который мог бы с нами поехать. Одним нам ехать нельзя. Знания английского языка хватило бы на то, чтобы снять номер в гостинице, заказать обед в ресто-

ране, пойти в кино и понять содержание картины, даже на то, чтобы поговорить с приятным и никуда не торопящимся собеседником о том о сем, — но не больше. А нам надо было именно больше. Кроме того, было еще одно соображение. Американская автомобильная дорога представляет собой такое место, где, как утверждает шоферское крылатое слово, вы едете прямо в открытый гроб. Тут нужен опытный водитель.

Итак, перед нами совершенно неожиданно разверзлась пропасть. И мы уже стояли на краю ее. В самом деле, нам нужен был человек, который:

умеет отлично вести машину,  
отлично знает Америку, чтобы показать ее нам как следует,  
хорошо говорит по-английски,  
хорошо говорит по-русски,  
обладает достаточным культурным развитием,  
имеет хороший характер, иначе может испортить все путешествие,  
и не любит зарабатывать деньги.

Последнему пункту мы придавали особенное значение, потому что денег у нас было немного. Настолько немного, что прямо можно сказать — мало.

Таким образом, фактически нам требовалось идеальное существо, роза без шипов, ангел без крыльев, нам нужен был какой-то сложный гибрид: гидо-шоферо-переводчико-бессребреник. Тут бы сам Мичурин опустил руки. Чтобы вывести такой гибрид, понадобилось бы десятки лет.

Не было смысла покупать автомобиль, пока мы не найдем подходящего гибрида. А чем дольше мы сидели в Нью-Йорке, тем меньше оставалось денег на автомобиль. Эту сложную задачу мы решали ежедневно и не могли решить. Кстати, и времени для обдумывания почти не было.

Когда мы ехали в Америку, мы не учли одной вещи — «госпиталити», американского гостеприимства. Оно беспредельно и далеко оставляет позади все возможное в этом роде, включая гостеприимство русское, сибирское или грузинское. Первый же знакомый американец обязательно пригласит вас к себе домой (или в ресторан) распить с ним коктейль. На коктейле будет десять друзей вашего нового знакомого. Каждый из них непременно потащит вас к себе на коктейль. И у каждого из них будет по десять или пятнадцать приятелей. В два дня у вас появляется сто новых знакомых, в неделю — несколько тысяч. Пробыть в Америке год — просто опасно: можно спиться и стать бродягой.

Все несколько тысяч наших новых друзей были полны одним желанием — показать нам все, что мы только захотим увидеть, пойти с нами, куда только мы ни пожелаем, объяснить нам все, чего мы не поняли. Удивительные люди американцы — и дружить с ними приятно, и дело легко иметь.

Мы почти никогда не были одни. Телефон в номере начинал звонить с утра и звонил, как в комендатуре. В редкие и короткие перерывы между встречами с нужными и интересными людьми мы думали об идеальном существе, которого нам так не хватало. Даже развлекались мы самым деловым образом, подхлестываемые советами:

— Вы должны это посмотреть, иначе вы не узнаете Америки!

— Как? Вы еще не были в «бурлеске»? Но тогда вы не видели Америки! Ведь это самое вульгарное зрелище во всем мире. Это можно увидеть только в Америке!

— Как? Вы еще не были на автомобильных гонках? Простите, тогда вы еще не знаете, что такое Америка!

Было светлое октябрьское утро, когда мы выбрались на автомобиле из Нью-Йорка, отправляясь на сельскохозяйственную выставку, в маленький город Денбери в штате Коннектикут.

Здесь ничего не будет рассказано о дорогах, по которым мы ехали. Для этого нужны время, вдохновение, особая глава.

Красный осенний пейзаж раскрывался по обе стороны дороги. Листва была раскалена, и когда уже казалось, что ничего на свете не может быть краснее, показывалась еще одна роща неистово-красного индейского цвета. Это не был убор подмосковного леса, к которому привыкли наши глаза, где есть и красный цвет, и ярко-желтый, и мягкий коричневый. Нет, здесь все пылало, как на закате, и этот удивительный пожар вокруг Нью-Йорка, этот индейский лесной праздник продолжался весь октябрь.

Рев и грохот послышались, когда мы приблизились к Денбери. Стада автомобилей отдыхали на еще зеленых склонах маленькой долины, где разместилась выставка. Полицейские строго простирали руки, перегоняя нас с места на место. Наконец мы нашли место для автомобиля и пошли к стадиону.

У круглой трибуны рев стал раздражающим душу, и из-за высоких стен стадиона в нас полетели мелкие камни и горячий песок, выбрасываемый машинами на крутом повороте. Потерять глаз или зуб было пустое дело. Мы ускорили шаги и закрылись руками, как это делали помпейцы во время гибели их родного города от извержения вулкана.

За билетами пришлось постоять в небольшой очереди. Кругом грохотала веселая провинциальная ярмарка. Продавцы, не раз описанные О'Генри, громко восхваляли свой товар — какие-то алюминиевые пишалки, тросточки с резьбой, тросточки, увенчанные куколками, всякую ярмарочную дребедень. Вели куда-то корову с красивыми глазами и длинными ресницами. Красавица зазывно раскачивала выменем. Хозяин механического органа сам танцевал под оглушительную музыку своего прибора. Качели в виде лодки, прикрепленные к блестящей металлической штанге, описывали полный круг. Когда катающиеся оказывались высоко в небе вниз головой, раздавался чистосердечный и истерический женский визг, сразу переносивший нас из штата Коннектикут в штат Москва, в Парк культуры и отдыха. Продавцы соленых орешков и бисквитов с сыром заливались вовсю.

Автомобильные гонки представляют собой зрелище пустое, мрачное и иссушающее душу. Красные, белые и желтые маленькие гоночные машины с раскояченными колесами и намалеванными на боку номерами, стреляя, как ракетные двигатели, носились мимо нас. Заезд сменялся заездом. Одновременно состязались пять машин, шесть, иногда десять. Зрители ревели. Скучища была страшная. Развеселить публику могла, конечно, только какая-нибудь автомобильная катастрофа. Собственно, за этим сюда и приходят. Наконец она произошла. Внезапно раздалась тревожные сигналы. Все разом поднялись со своих мест. Одна из машин на полном ходу слетела с трека. Мы еще продирались сквозь толпу, окружавшую стадион, когда раздался пугающий вой санитарного автомобиля. Мы успели увидеть сквозь стекла пострадавшего гонщика. На нем уже не было кожаного шлема. Он сидел, держась рукой за синюю скулу. Вид у него был сердитый. Он потерял приз, из-за которого рисковал жизнью.

В промежутках между заездами — на деревянной площадке внутри круга — цирковые комики разыгрывали сцену, изображающую, как четыре неудачника строят дом. Конечно, на четырех дураков падают кирпичи, дураки мажут друг друга известковым раствором, сами себя лупят по ошибке молотками и даже — в самозабвении — отпиливают себе ноги. Весь этот набор трюков, ведущий свое начало из глубокой греческой и римской древности и теперь еще блестяще поддерживаемый мастерством таких великих клоунов, как Фрателлини, ярмарочные комики из Денбери выполняли великолепно. Всегда приятно смотреть на хорошую цирковую работу, никогда не приедаются ее точные, отшлифованные веками приемы.

Ярмарка кончалась. Уже мало было посетителей в деревянных павильонах, где на длинных столах лежали крупные, несъедобные на вид, как будто лакированные, овощи. Оркестры играли прощальные марши, и вся масса посетителей, пыля по чистому темно-желтому песочку, пробиралась к своим ав-



томобилям. Здесь демонстрировали (и продавали, конечно) прицепные вагончики для автомобилей.

Американцы по двое, большей частью это были муж и жена, забирались внутрь и подолгу ахали, восхищаясь вагончиками. Они озирали соблазнительную внутренность вагончика — удобные кровати, кружевные занавески на окнах, диван, удобную и простую металлическую печку. Что может быть лучше — прицепить такой вагончик к автомобилю, выехать из гремучего города и помчаться, помчаться куда глаза глядят! То есть известно, куда помчаться. Глаза глядят в лес, они видят Великие озера, тихоокеанские пляжи, каньоны и широкие реки.

Кряхтя, муж с женой вылезают из вагончика. Он довольно дорог. Здесь, в Денбери, были вагончики по триста пятьдесят долларов, были и по семсот. Но где взять семсот долларов! Где взять время для большой поездки?

Длинные колонны машин беззвучно летели в Нью-Йорк, и через полтора часа хорошего хода мы увидели пылающий небосклон. Сверху донизу сияли небоскребы. Над самой землей блистали текущие огни кино и театров.

Увлеченные бурей света, мы решили посвятить вечер знакомству с развлечениями для народа.

Вечерний Нью-Йорк всем своим видом говорит гуляющему:

— Дайте никель, опустите никель! Расстаньтесь со своим никелем — и вам будет хорошо!

Щелканье несется из больших магазинов развлечений. Здесь стоят десятки механических бильярдных столов всех видов. Надо опустить никель в соответствующую щель, тогда автоматически освобождается кий на какой-то пружине, и весельчак, решивший провести вечер в разгуле, может пять раз стрельнуть стальным шариком. На завоёванное число очков он получает картонное свидетельство от хозяина заведения. Через полгода, проведенных в регулярной игре, а следовательно, и в регулярном опускании никелей, весельчак наберет нужное число очков и получит выигрыш, один из прекрасных выигрышей, стоящих на магазинной полке. Это — стеклянная ваза, или алюминиевый сосуд для сбивания коктейлей, или настольные часы, или дешёвая автоматическая ручка, или бритва. В общем, здесь все те сокровища, от одного вида которых сладко сжимается сердце домашней хозяйки, ребенка или гангстера. Американцы развлекаются тут часами, развлекаются одиноко, сосредоточенно, равнодушно, не сердясь и не восторгаясь.

Покончив с бильярдами, можно подойти к механической гадалке. Она сидит в стеклянном шкафу, желтолицая и худая. Перед ней полукругом лежат карты. Надо опустить никель, это понятно само собой. Тогда гадалка оживает. Голова ее начинает покачиваться, грудь вздымается, а восковая рука скользит над картами. Картина эта не для впечатлительных людей. Все это так глупо и страшно, что можно тут же сойти с ума. Через полминуты гадалка застывает в прежней позе. Теперь надо потянуть за ручку. Из щели выпадет предсказание судьбы. Это по большей части портрет вашей будущей жены и краткое описание ее свойств.

Лавки этих идиотских чудес противны, даже если помещаются в центре города, полным блеска и шума. Но где-нибудь в Ист-Сайде, на темной улице, тротуары и мостовые которой засыпаны отбросами дневной уличной торговли, среди вывесок, свидетельствующих о крайней нищете (здесь можно побриться за пять центов и переночевать за пятнадцать), — такая лавка, плохо освещенная, грязная, где две или три фигуры молчаливо и безрадостно щелкают на бильярдах, по сравнению с которыми обыкновенная пирамидка является подлинным торжеством культуры и интеллекта, — вызывает собачью тоску. Хочется скулить.

От работы трещит голова. От развлечений она тоже трещит.



После развлекательных магазинов мы попали в очень странное зрелищное предприятие.

Грохочет джаз, по мере способностей подражая шуму надземной дороги. Люди толпятся у стеклянной будки, в которой сидит живая кассирша с застывшей восковой улыбкой на лице. Театр называется «бурлеск». Это ревио за тридцать пять центов.

Зал «бурлеска» был переполнен, и молодые решительные капельдинеры сажали вновь вошедших куда попало. Многим так и не нашлось места. Они стояли в проходах, не сводя глаз со сцены.

На сцене пела женщина. Петь она не умела. Голос у нее был такой, с которым нельзя выступать даже на именинах у ближайших родственников. Кроме того, она танцевала. Не надо было быть балетным маньяком, чтобы понять, что балериной эта особа никогда не будет. Но публика снисходительно улыбалась. Среди зрителей вовсе не было фанатиков вокала или балетоманов. Зрители пришли сюда за другим.

«Другое» состояло в том, что исполнительница песен и танцев внезапно начинала мелко семенить по сцене, на ходу сбрасывая с себя одежды. Сбрасывала она их довольно медленно, чтобы зрители могли рассмотреть эту художественную мизансцену во всех подробностях. Джаз вдруг закудахтал, музыка оборвалась, и девушка с визгом убежала за кулисы. Молодые люди, наполнившие зал, восторженно аплодировали. На авансцену вышел конференсье, мужчина атлетического вида в смокинге, и внес деловое предложение:

— Поаплодируйте сильнее, и она снимет с себя еще что-нибудь.

Раздался такой взрыв рукоплесканий, которого никогда в своей жизни, конечно, не могли добиться ни Маттиа Баттистини, ни Анна Павлова, ни сам Кин, величайший из великих. Нет! Одним талантом такую публику не возьмешь!

Исполнительница снова прошла через сцену, жертвуя тем немногим, что у нее еще осталось от ее обмундирования.

Для удовлетворения театральной цензуры приходится маленький клочок одежды все-таки держать перед собой в руках.

После первой плясуньи и певуньи вышла вторая и сделала то же самое, что делала первая. Третья сделала то же, что делала вторая. Четвертая, пятая и шестая не подарили ничем новым. Пели без голоса и слуха, танцевали с изяществом кенгуру. И разделись. Остальные десять девушек по очереди делали то же самое.

Отличие состояло только в том, что некоторые из них были брюнетки (этих меньше), а некоторые — светловолосые овечки (этих больше).

Зулусское торжество продолжалось несколько часов. Эта порнография настолько механизирована, что носит какой-то промышленно-заводской характер. В этом зрелище так же мало эротики, как в серийном производстве пылесосов или арифмометров.

На улице падал маленький неслышный дождь. Но если бы даже была гроза с громом и молнией, то и ее не было бы слышно. Нью-Йорк сам гремит и сверкает почти всякой бурей. Это мучительный город. Он заставляет все время смотреть на себя. От этого города глаза болят.

Но не смотреть на него невозможно.

## *Глава VI* ПАПА ЭНД МАМА

Перед отъездом из Москвы мы набрали множество рекомендательных писем. Нам объяснили, что Америка — это страна рекомендательных писем. Без них там не повернешься.

Знакомые американцы, которых мы обходили перед отъездом, сразу молча садились за свои машинки и принимались вступивать:

«Дорогой сэр, мои друзья, которых я рекомендую вашему вниманию...»

И так далее и так далее. «Привет супруге» — и вообще все, что полагается в таких случаях писать. Они уже знали, зачем мы пришли.

Корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Вальтер Дюранти писал с невероятной быстротой, вынимая изо рта сигарету только затем, чтобы отхлебнуть крымской мадеры. Мы унесли от него дожину писем. На прощанье он сказал нам:

— Поезжайте, поезжайте в Америку! Там сейчас интересней, чем у вас, в России. У вас все идет кверху. — Он показал рукой поднимающиеся ступеньки лестницы. — У вас все выяснилось. А у нас стало неясно. И еще неизвестно, что будет.

Колоссальный улов ожидал нас у Луи Фишера, журналиста, хорошо известного в американских левых кругах. Он затратил на нас по крайней мере половину рабочего дня.

— Вам угрожает в Америке, — сказал он, — опасность — сразу попасть в радикальные интеллигентские круги, завертеться в них и, не увидя ничего, вернуться домой в убеждении, что все американцы очень передовые и интеллигентные люди. А это далеко не так. Вам надо видеть как можно больше различных людей. Старайтесь видеть богачей, безработных, чиновников, фермеров, ищите средних людей, ибо они и составляют Америку.

Он посмотрел на нас своими очень черными и очень добрыми глазами и пожелал счастливого и плодотворного путешествия.

Нас одолела жадность. Хотя чемоданы уже раздувались от писем, нам все казалось мало. Мы вспомнили, что Эйзенштейн когда-то был в Америке, и поехали к нему на Поттылиху.

Знаменитая кинодеревня безобразно раскинулась на живописных берегах Москвы-реки. Сергей Михайлович жил в новом доме, который по плану должны были в ближайшее время снести, но который тем не менее еще достраивался.

Эйзенштейн жил в большой квартире среди паникадил и громадных мексиканских шляп. В его рабочей комнате стояли хороший рояль и детский скелетик под стеклянным колпаком. Под такими колпаками в приемных известных врачей стоят бронзовые часы. Эйзенштейн встретил нас в зеленой полосатой пижаме. Целый вечер он писал письма, рассказывал про Америку, смотрел на нас детскими лучезарными глазами и угощал вареньем.

Через неделю тяжелого труда мы стали обладателями писем, адресованных губернаторам, актерам, редакторам, сенаторам, женщине-фотографу и просто хорошим людям, в том числе негритянскому пастору и зубному врачу, выходящу из Проскурава.

Когда мы показали свое накопленное с таким трудом добро Жану Львовичу Аренсу, нашему генеральному консулу в Нью-Йорке, он поблел.

— Для того чтобы увидеться с каждым из этих людей в отдельности, вам понадобится два года.

— Как же быть?

— Лучше всего было бы уложить эти письма снова в чемодан и уехать обратно в Москву. Но раз уж вы все равно здесь, надо будет для вас что-нибудь придумать.

Впоследствии мы не раз убеждались, что консул всегда может что-нибудь придумать, если в этом встречалась необходимость. На этот раз он придумал нечто грандиозное — разослать письма адресатам и устроить прием для всех сразу.

Через три дня на углу 61-й улицы и Пятой авеню, в залах консульства, состоялся прием.

Мы стояли на площадке второго этажа, стены которой были увешаны огромными фотографиями, изображающими Днепрогэс, уборку хлеба комбайнами и детские ясли. Стояли мы рядом с консулом и с неприкрытым страхом смотрели на поднимающихся снизу джентльменов и леди. Они двигались

непрерывным потоком в течение двух часов. Это были духи, вызванные соединенными усилиями Дюранти, Фишера, Эйзенштейна и еще двух десятков наших благодетелей. Духи пришли с женами и были в очень хорошем настроении. Они были полны желаний сделать все, о чем их просили в письмах, и помочь нам узнать, что собой представляют Соединенные Штаты.

Гости здоровались с нами, обменивались несколькими фразами и проходили в залы, где на столах помещались вазы с крушоном и маленькие дипломатические сэндвичи.

Мы в простоте душевной думали, что когда все соберутся, то и мы, так сказать, виновники торжества, тоже пойдем в зал и тоже будем поднимать бокалы и поедать маленькие дипломатические бутерброды. Но не тут-то было. Выяснилось, что нам полагается стоять на площадке до тех пор, пока не уйдет последний гость.

Из зал доносились шумные восклицания и веселый смех, а мы все стояли да стояли, встречая опоздавших, провожая уходящих и вообще выполняя функции хозяев. Гостей собралось больше полутораста, и понять, кто из них губернатор, а кто — выходец из Проскурава, мы так и не смогли. Это было шумное общество: здесь было много седоватых дам в очках, румяных джентльменов, плечистых молодых людей и высоких тонких девиц. Каждый из этих духов, возникших из приземных нами конвертов, представлял несомненный интерес, и мы очень страдали от невозможности поговорить с каждым в отдельности.

Через три часа поток гостей устремился вниз по лестнице.

К нам подошел маленький толстый человек с выбритой начисто головой, на которой сверкали крупные капли ледяного пота. Он посмотрел на нас сквозь увеличительные стекла своих очков, затряс головой и проникновенно сказал на довольно хорошем русском языке:

— О, да, да, да! Это ничего! Мистер Ильф и мистер Петров, я получил письмо от Фишера. Нет, нет, сэры, не говорите мне ничего. Вы не понимаете. Я знаю, что вам нужно. Мы еще увидимся.

И он исчез, маленький, плотный, с удивительно крепким, почти железным телом. В суতোлке прощания с гостями мы не могли поговорить с ним и разгадать смысл его слов.

Через несколько дней, когда мы еще валялись в кроватях, обдумывая, где же наконец мы найдем необходимое нам идеальное существо, зазвонил телефон, и незнакомый голос сказал, что говорит мистер Адамс и что он хочет сейчас к нам зайти. Мы быстро оделись, гадая о том, зачем мы понадобились мистеру Адамсу и кто он такой.

В номер вошел тот самый толстяк с железным телом, которого мы видели на приеме в консульстве.

— Мистеры, — сказал он без обиняков. — Я хочу вам помочь. Нет, нет, нет! Вы не понимаете. Я считаю своим долгом помочь каждому советскому человеку, который попадает в Америку.

Мы пригласили его сесть, но он отказался. Он бегал по нашему маленькому номеру, толкая нас иногда своим выпуклым твердым животом. Три нижних пуговицы жилета у него были расстегнуты, и наружу высовывался хвост галстука. Вдруг наш гость закричал:

— Я многим обязан Советскому Союзу! Да, да, сэры! Очень многим! Нет, не говорите, вы даже не понимаете, что вы там у себя делаете!

Он так разволновался, что по ошибке выскочил в раскрытую дверь и оказался в коридоре. Мы с трудом втащили его назад в номер.

— Вы были в Советском Союзе?

— Шурли! — закричал мистер Адамс. — Конечно! Нет, нет, нет! Вы не говорите так — «был в Советском Союзе»! Я долго там прожил. Да, да, да! Сэры! Я работал у вас семь лет. Вы меня испортили в России. Нет, нет, нет! Вы этого не поймете!

---

# **КИНОСЦЕНАРИИ, ДРАМАТУРГИЯ**

---

## ПРАЗДНИК СВЯТОГО ЙОРГЕНА

*Титры к фильму*

### Часть 1-я

1. Князя церкви — крупные заказчики.
2. Наместник храма св. Йоргена — большой приятель Господа Бога.
3. Казначей храма, смиренный хранитель церковной копейки.
4. Короли экрана — старательные исполнители.
5. «Заморили, черти, полетами. Тут даже ангельское терпение лопнет».
6. «А сейчас мы покажем вам уже готовые сцены».
7. «Какой удачный грим папы-развратника».
8. «Вчера сдавали заказ военному ведомству, сегодня — церковному».
9. Святым отцам нужен только «идеологически выдержанный товар».
10. «Поменьше переживаний, господин директор, побольше чудес».
11. «Вырезать немедленно. Человек идет по морю, яко посуху, а у вас дачники разъезжают».
12. «Простите, ваше преосвященство. Техническая неувязка».
13. «Терпите и ждите». Какие прекрасные слова заповедал св. Йорген нашему народу.

### Часть 2-я

14. Каждый год на праздник св. Йоргена...
15. ...стекались толпы богомольцев.
16. Св. Йорген любил бедных и обиженных... (богомольцы)
17. ...сирых и убогих (калеки)
18. Обездоленных и угнетенных (автокары)

19. ...но больше всего св. Йорген любил порядок (перед полицейскими).
20. «Полицейские орлы! В случае чего действовать по Йоргену. Быстро и решительно».
21. За толпами темных паломников следовали группы сознательных прихожан (бараны).
22. Опытному взломщику как-то не сидится в тюрьме.
23. «В Йоргенштадт! Люблю религиозные праздники — легче скрыться в толпе».
24. Набожный Франц без памяти любит чужие саквояжи.
25. «Ну, Микаэль, как вам нравится эта камера?»
26. Тихий Франц знал толк в великосветской жизни (вытирает руки о занавеску).
27. «Вот люди живут. Небось каждый день руки моют».
28. Между тем полиция работала по Йоргену — быстро и решительно.
29. «...произойдут выборы невесты для св. Йоргена... Среди кандидатов — Олеандра, дочь наместника храма... Из средств храма родители невесты получают 100 000. Кто же сподобится?»
30. В вагоне знакомиться гораздо легче, чем, например, в тюремном замке.
31. «Пока у св. Йоргена будут такие невесты, он вряд ли вернется на землю».
32. «Поймали Коркиса, а с ним еще одного фрукта».
33. Ночное бдение у двери арестованных.

34. «Пора рвать когти».  
 35. «Что это? Неужели чудо св. Йоргена?»  
 36. «Тс-с! Это чудо св. Коркиса».

### Часть 3-я

37. Уже накануне торжества намечался полный сбор.  
 38. У статуи св. Йоргена распевали паломники.  
 39. «Скажи нам, Йорген, нас любя, Что было б с нами без тебя».  
 40. Чудотворный источник св. Йоргена. Подлинное чудо — приносит 100% на капитал.  
 41. «Блажени кроткие...» (богомольцы)  
 42. «Блажени праведники...» (толстые монахи)  
 43. «Блажени нищие духом...» (ссыпают монеты в мешки)  
 44. «Блажени миротворцы...» (полицейские)  
 45. «Блажени алчущие и жаждущие правды...» (Кторов и Ильинский у источника)  
 46. Полезно в хозяйстве! (пакетик с волосами Йоргена)  
 47. Страна не испытывает недостатка в слезах, однако слезы — ходкий товар.  
 48. «К чему тебе, папочка, лекарство? Пополоскал бы горло...»  
 49. ...водой из чудотворного источника».  
 50. «Ты бы еще посоветовала понюхать волос св. Йоргена!»  
 51. «Учитесь, Микаэль, как надо работать без отмычек».  
 52. «Скажи нам, Йорген, нас любя, Что было б с нами без тебя».  
 53. «Йорген, Йорген, гутен морген».  
 54. В храме божьем бухгалтерия поставлена на должную высоту.  
 55. Финансовый магнат не прочь вложить капиталы в большое доходное предприятие.  
 56. «...о совместной эксплуатации гостиниц, ресторанов, кинематографов, а также:  
 а) чудотворного источника св. Йоргена,  
 б) слез и волос такового,  
 в) плаща св. Йоргена, а равно прочих святынь, кои могут обнаружиться в дальнейшем...»

### Часть 4-я

57. Городскую знать привлекало торжество выборов невесты св. Йоргена.  
 58. Предвыборная лихорадка.  
 59. «Вы не подсунете Йоргену свою дочь! Дайте и другим приданое понюхать!»  
 60. «Это грабёж! В порядке живой очереди — моя племянница!»  
 61. «Братие и чада! Сейчас св. Йорген изберет достойнейшую».  
 62. «С вами в карты не садись. Разденете!»  
 63. «Ключ!»  
 64. Невесту поздравляли старые знакомые...  
 65. ...и новые не забывали (перед появлением Ильинского).  
 66. «Доложи, милый. Визитную карточку я забыл дома. На рояли».  
 67. В святую ночь слушали и постановили...  
 68. «Если мы отдали вам голоса верующих, то...»  
 69. ...придя к власти, национал-демократы освободят церковные земли от налогов».  
 70. Свидание министров на яхте (Ильинский и Кторов ночью перед храмом).  
 71. «Отопрешь через час».  
 72. На стреме у божьего храма.

### Часть 5-я

73. Наступил день праздника.  
 74. Невеста налицо — жених в отлучке.  
 75. «Св. Йорген, слышишь ли моления детей своих?»  
 76. «Слышу».  
 77. «Ты обещал второе пришествие. Вернись к нам, вернись!»  
 78. «Я здесь. Кто спрашивает св. Йоргена?»  
 79. «Придите ко мне все... как это... нуждающиеся...»  
 80. «Истинно говорю вам. Знатные преследуют меня. Ей-богу!»  
 81. «Не верьте ему. Это жулик».  
 82. «Выяснить! По возможности арестовать».  
 83. «Если ты святой, сотвори чудо».  
 84. «Чудо! Яви нам чудо!»  
 85. «Чуда!»  
 86. «Впрочем, если вы так настаиваете... Пожалуйста!»

87. «Тебе говорю — брось костыли и ходи!»  
 88. «Ходи, дубина, тебе говорят!»  
 89. «Это дельце почише вашего чуда с карточками».  
 90. «Всем вам отпускаю грехи бесплатно».  
 91. «Этот гусь пустит нас по миру».  
 92. «Святому штату полагается невеста. Где она?»

### Часть 6-я

93. «Спрячься. Этот прохвост тебя требует. Хорошо, что еще о приданом не вспомнил».  
 94. «Я сама знаю, что мне делать».  
 95. «Личность чудотворца установлена. Это Микаэль Коркис, рецидивист».  
 96. «Прикажите арестовать».  
 97. «Поздно. Это надо было сделать до совершения чуда».  
 98. У ног тихого Франца собрались светила науки.  
 99. «Замечательный случай в медицине».  
 100. «Поистине чудо. С божественным промыслом и ланцета не нужно».  
 101. Во славу св. Йоргена паломники угощались бесплатно.  
 102. «Спокойно. Сделайте, по возможности, ангельское лицо».  
 103. «Расскажите же, как с вами произошло чудо».  
 104. «Подхожу я к храму — вижу, Йорген стоит, жалобы принимает...»  
 105. Поздоровался я с ним, конечно, за ручку...»  
 106. Торжественно водворенный в брачный покой св. Коркис размышлял только о бегстве.  
 107. Церковь и государство мобилизовались на борьбу с разрушителем основ.  
 108. «Помолимся, братие, и да падет гнев Божий на святотатца».  
 109. «Бросьте! Гнев Божий вряд ли падет, а вот акции наши падут несомненно».  
 110. «Но это еще полбеды. Падет престиж церкви...»  
 111. «Все мы падем. И наши фабрики...»

112. «И наша власть».  
 113. «Вот что будет с нами».  
 114. «Самое главное в жизни святых — вовремя смыться».  
 115. «Как же, старина, ты сподобился?»  
 116. «Поздоровался я, конечно, с Йоргеном за ручку...»  
 117. «Идея! Со святым надо сторговаться и устроить ему... вознесение!»  
 118. «Отлично! Одно чудо вызовет другое. Воскреснут наши акции».  
 119. «Не сердитесь на святого. У святых есть свои странности».  
 120. «Мне надоела эта комедия!»  
 121. На мирную конференцию.  
 122. «Куда ты? Что скажут верующие? Скандал!»  
 123. «Поздоровался я, конечно, с Йоргеном за ручку...»  
 124. «Мы вам покажем. Вы мелкий жулик!»  
 125. «По сравнению с такими, как вы, конечно, мелкий».  
 126. «Этот тип далеко пойдет».  
 127. «Совершите еще одно чудо. Вознеситесь на небо».  
 128. «А подъемные?»  
 129. «Документ, необходимый при вознесении, — заграничный паспорт».  
 130. «Погодите. До границы меня должна проводить невеста. Святые любят страховаться от недоразумений в пути».  
 131. «Поздоровался это я, конечно, за ручку...» (перед статуей)  
 132. «Ваше блаженство, заступитесь...»  
 133. «...что в храме вашего имени зажим низких служителей культа... Наместник украл золотого Св. Духа с алтаря и заменил его серебряным голубем... Задерживают выплату зарплат».  
 134. «Некогда. Терпите и ждите».  
 135. «Поздоровался это я, песик, с Йоргеном за ручку...»  
 136. И святые отцы с новым жаром принялись разрабатывать золотоносные жилы религии.



## БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

ИЛЬЯ ИЛЬФ (Файнзильберг. 15.10.1897, Одесса — 13.04.1937, Москва). Родился в семье мелкого банковского служащего, закончил с отличием Одесскую школу ремесленных учеников (1913), работал в чертежном бюро, на телефонной станции, на «аэропланном» заводе «Анатра» и др. Участвовал в борьбе с бандами в рядах 1-го Караульного полка (1919), служил в Одесском Опродкомгубе (1921). Работал в ЮгРОСТА, с 1920-го был членом Коллектива Поэтов, где иногда читал свои опусы — по определению Вал. Катаева, «ни прозу, ни поэзию». В 1923 уезжает в Москву, работает в газете железнодорожников «Гудок», печатает репортажи о московской жизни, маленькие фельетоны, кинорецензии. Командировки по стране приносят циклы очерков «Ярмарка в Нижнем» (1924) и «В Средней Азии» (1925). До 1931 сотрудничает в газетах («Вечерняя Москва», «Кино», «Рабочая Москва») и юмористических журналах («Красный перец», «Заноза», «Советский экран», «Смехач», «30 дней», «Чудак»). Ильф — автор любимых читателями «Записных книжек» (1925—1937).

ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ (Евгений Петрович Катаев. 13.12.1903, Одесса — 2.07.1942, с. Маньково Чертковского района Ростовской обл.). Родился в семье преподавателя. Окончил классическую гимназию (1920), был корреспондентом ЮгРОСТА, служил в уездном уголовном розыске, в отделе по борьбе с бандитизмом. В 1923 переселился в Москву, где начинает работать выпускающим в журнале «Красный перец». После возвращения с военной службы (1926) сотрудничает в «Гудке», публикует фельетоны и юмористические рассказы («Красный перец», «Смехач», «Чудак», «Огонек», «30 дней», «Рабочая газета», «Крокодил»). Командировка в Италию (1928) принесла читателям отличные юмористические очерки.

С осени 1927 года Ильф и Петров становятся соавторами, создавшими романы «Двенадцать стульев» (1928) и «Золотой теленок» (1931), которые по праву считаются известнейшими сатирическими произведениями литературы советского периода. Им принадлежат циклы гротескных новелл, множество рассказов, фельетонов, очерков в газетной и журнальной периодике. По заданию редакций они ездили на открытие Турксиба и в Среднюю Азию (1930), совершили путешествие по Европе на военных кораблях Черноморского флота (Турция — Греция — Италия), после чего побывали в Вене у издателя их романов и закончили путь в Париже (конец 1933 — начало 1934). Как корреспонденты газеты «Правда» соавторы совершили автомобильную поездку по Соединенным Штатам (конец 1935 — начало 1936), результатом чего явились книга очерков «Одноэтажная Америка» (1936) и повесть «Тоня». Творческое сотрудничество писателей прервала смерть Ильфа от туберкулеза в Москве 13 апреля 1937 года.

После кончины Ильфа младший соавтор опубликовал часть его записных книжек (1939), задумал большое произведение «Мой друг Ильф», написал несколько кинокомедий («Музыкальная история», «Антон Иванович сердится», «Воздушный извозчик»), имевших огромный успех. Написал пьесу-памфлет «Остров мира», начал утопический роман «Путешествие в страну коммунизма», ездил в дальние командировки, писал очерки. Руководил журналом «Огонек». Во время Великой Отечественной войны Петров был фронтовым корреспондентом. Погиб 2 июля 1942 года — самолет, на котором он возвращался в Москву из осажденного Севастополя, был сбит немецким истребителем над территорией Ростовской области. На месте падения самолета установлен памятник с надписью: «Погиб на боевом посту».

## «КАК МЫ ПИШЕМ ВДВОЕМ? ВОТ КАК МЫ ПИШЕМ ВДВОЕМ...»

Две неразделимые фамилии «Ильф-и-Петров» вызывают в памяти неразделимые названия романов «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок», написанных Ильей Ильфом и Евгением Петровым. На протяжении почти восьми десятков лет оба романа не перестают печататься; их сюжеты и мотивы стали основой нескольких кинофильмов и в России, и за границей.

Роман «Двенадцать стульев» был первым общим сочинением молодых авторов. Написанный в конце 1927 года и вышедший в свет 1928-м, «современный фельетон» имел большой успех у публики (по словам О. Мандельштама, «широчайшие слои сейчас буквально захлебываются книгой молодых авторов Ильфа и Петрова, называемой «Двенадцать стульев») и почти не был замечен критикой, — она ограничилась несколькими пренебрежительными рецензиями («Это не более как беззаботная улыбка фланёра, весело прогуливающегося по современному паноптикуму», «роман не восходит на высоты сатиры...» и т.д.).

В 1931 году А. Луначарский называл роман «блещущим весельем», имеющим европейский успех: «Роман этот переведен почти на все европейские языки. В некоторых случаях, например, в ... Германии, он произвел впечатление настоящего события на рынке смеха».

«Роман «Двенадцать стульев» — это превосходный образчик комического романа, — писал Михаил Зощенко. — Веселый, смешной и трогательный, он обладает еще отличными качествами — там есть настоящее знание жизни, и шарж и гротеск только подчеркивают это знание и делают роман в полной мере сатирическим».

Сразу же после «Двенадцати стульев» Ильф и Петров написали повесть-фантазмагорию «Светлая личность» (журнал «Огонек»). Очень плодотворным был период работы в новом сатирическом журнале «Чудак» под руководством Михаила Кольцова (конец 1928 — начало 1930), где Ильф и Петров «оптом и в розницу» опубликовали более 70 произведений. Из номера в номер печатались сатирические циклы соавторов — «Необыкновенные истории из жизни города Колоколамска» и «1001 день, или Новая Шахерезада», рассказы и фельетоны, посвященные проблемам литературы и искусства, а также рецензии на спектакли и кинофильмы.

1929 и 1930 годы отданы работе над романом «Великий комбинатор» (первый вариант «Золотого теленка»). Пишутся путевые очерки — о поездке на открытие Турксиба и в Бухару. На протяжении 1931 года в журнале «30 дней» печатается роман «Золотой теленок», идут публикации в журналах и газетах. Казалось бы, всё хорошо. Но не нужно считать Ильфа и Петрова баловнями судьбы, презрительно пошучивающими над окружающей действительностью.

«В ужасных препирательствах прошла молодость, — вспоминали соавторы пару лет спустя. — Мы спорили без конца. Враги говорили, что юмор — это низкий жанр, что он вреден. Плача, мы возражали. Мы говорили, что юмор вроде фитина. В небольших дозах его можно давать передовому читателю».

« — Скажите, почему вы пишете смешно? Что за смешки в реконструктивный период? Вы что, с ума сошли? — упрекал их «некий строгий гражданин». — Смеяться нельзя! И улыбаться нельзя! ... Сатира не может быть смешной» (см. предисловие к «Золотому теленку»). На писательском съезде Михаил Кольцов рассказал, как «одном почтенному московскому редактору принесли сатирический рассказ. Он просмотрел и сказал: "Пролетариату смеяться еще рано. Пускай смеются наши классовые враги"».

В начале 1932 года самое литературное существование Ильфа и Петрова висело на волоске. Их открыто называли «мелкобуржуазными сатириками в процессе разложения», которые, «не сумев найти правильной ориентировки, работают вхолостую».

«...На одном из последних заседаний покойной РАПП [Российской ассоциации пролетарских писателей], чуть ли не за месяц до ее ликвидации, — подтверждал Михаил Кольцов на писательском съезде, — мне пришлось при весьма неодобрительных возгласах доказывать право на существование в советской литературе писателей такого рода, как Ильф и Петров, и персонально их».

\* \* \*

Несколько слов о романе «Золотой теленок», которому было отдано куда больше времени и сил, чем первому. По словам Петрова, «писать было трудно... Мы вспоминали, как легко писались «Двенадцать стульев», и завидовали собственной молодости». Замысел, родившийся в 1928 году, воплотился в окончательный вариант лишь осенью 1930-го. «Золотой теленок» явился продолжением и завершением «Двенадцати стульев». Авторам при-

шло воскресить Остапа Бендера подобно тому, как Конан Дойлу пришлось воскресить Шерлока Холмса: читатели ни за что не хотели смириться с потерей «великого комбинатора». На этот раз он обрел вождя сокровище, но деньги не принесли ему счастья. «Идея денег, не имеющих моральной ценности» — вот тема романа, указанная в набросках Петрова к его книге «Мой друг Ильф».

В течение всего 1931 года роман печатался в журнале «30 дней». В процессе публикации авторы решительно переделали концовку: вместо заключительной 35-й главы были дописаны две другие. Глава «Адам сказал, что так нужно» (Бендер женится на Зосе) заменена новой — «Кавалер ордена Золотого Руна» (неудавшийся побег «великого комбинатора» из Советской России через румынскую границу). Ильф и Петров считали эту замену чрезвычайно важной. В декабре 1931-го они писали в Париж переводчику: «Что касается изменения конца, то имеющийся у вас второй вариант является окончательным и ни в коем случае не может быть переделан... В противном случае нам придется отказаться от предлагаемого вами издания».

В первом варианте Бендер признает свое поражение. «Мне тридцать три года, — жалуется он, — возраст Иисуса Христа. А что я сделал до сих пор? Учения не создал, учеников разбазарил, мертвого не воскресил... Придется переквалифицироваться в управдомы». Отчаянная попытка «начать трудовую буржуазную жизнь» в Рио-де-Жанейро (второй вариант финала) терпит крах. «Не надо оваций, — подводит итоги «великий комбинатор». — Графа Монте-Кристо из меня не вышло. Придется переквалифицироваться в управдомы».

Несмотря на то что миллионер-одиночка повержен и советская система торжествует, от журнальной публикации до книжного издания еще далеко. Возникли опасения, как бы «классово враждебного» Бендера не приняли за «героя нашего времени». В газетных статьях и рецензиях Ильфа и Петрова постоянно учили жить, требуя, чтобы они со своей сатирой проникли в сферу производства, а заодно уж отобразили классовую борьбу, происходящую в сфере искусства.

Не нужно забывать, что 1932 год был отмечен цензурным запретом на книжное издание «Золотого теленка». «Золотой теленок» пока не выходит, и кто знает, выйдет ли вообще», — печально сообщал Ильф другу журналисту А. Козачинскому в письме от 13 января 1932 года. Причина запрета становится ясной из письма А. Фадеева, направленного соавторам 19 февраля того же года: «...Сатира ваша все же поверхностна. И то, что вы высмеиваете, характерно главным образом для периода восстановительного. Похождения Остапа Бендера в той форме и в том содержании, как вы изобразили, навряд ли мыслимы сейчас. И мешанин сейчас более бешеный, чем это кажется на первый взгляд. С этой стороны повесть ваша устарела. Плохо еще и то, что самым симпатичным человеком в вашей повести является Остап Бендер. А ведь он же — сукин сын. Естественно, что по всем этим причинам Главлит не идет на издание ее отдельной книгой».

И если бы в конце 1932 года не появилось американское издание «Теленка», реклама которого гласила: «Книга, которая слишком смешна, чтобы быть опубликованной в России!»... Если бы не вмешательство Горького, кто знает... Роман вышел в свет отдельной книгой только в 1933 году.

Тем не менее изгнать Ильфа и Петрова из советской литературы не удалось. И хотя «вредные книги» с 1948 года в течение восьми лет не переиздавались, «возмущенные советские читатели» бережно хранили старые издания, цитировали, знали наизусть.

Вошли в живую речь и стали нарицательными многие словесные формулы из ильфопетровских фельетонов: «костяная нога», «директивный бантик», «безмятежная тумба», «человек из ведомости», «веселящаяся единица», «кипучий бездельник», «Саванарьло». К обобщенным, несколько условным образам на грани гротеска идеально подходит ильфовское определение — «Край непуганых идиотов».

Летом 1935 года, будучи в командировке на Украине, Ильф и Петров из Никополя, Бердянска, Ростова-на-Дону, Днепропетровщины, Запорожья отправляли в редакцию «Правды» обширные очерки об украинских колхозах, о запутанной системе финансирования в совхозах Запорожья, о тяжелых условиях работы украинской прокуратуры и суда и о многих других неполадках («Финансовая неразбериха», «Дело студента Сверановского», «Аллея побед», «В защиту прокурора», «Отец и сын» и др.). Соавторы внесли новое в жанр газетного фельетона, основанного на реальных фактах, — его можно назвать «очерком-фельетоном».

«Авторы пародировали всё, что попадало в их поле зрения», — справедливо замечает Б. Сарнов. Что же подвергают они пародии?

Словесные штампы, бюрократический лексикон: «По линии наименьшего сопротивления у нас все обстоит благополучно»; «Просьба явиться на дискуссионный бутерброд»; «Собаку нужно решать в плане героики сегодняшнего дня»; «Довели культурную

единицу до лысины»; «Надо идти по линии товарищеского ужина»; «Не умеют у нас беречь людей, этот живой материал для выполнения пятилетки в четыре и даже в три с половиной года».

Никогда не встретишь в их рассказах и фельетонах стремления «расшевелить» читателя, насильственно исторгнуть из его груди животный смех и добыть второсортной шуткой. Соавторы интеллигентны, слержанны — и непримиримы.

И равнодушны... «Равнодушие во всех его проявлениях казалось нам самым страшным преступлением».

Весьма объемистый раздел составляют путевые очерки соавторов, написанные в командировках. Ильф и Петров, участники «Звездного пробега», организованного журналом «Чудак», опубликовали свои впечатления в очерке «Ярославль перед штурмом» («Чудак», 1929), Поездка на открытие Турксиба с заездом в Среднюю Азию принесла читателям очерки «Осторожно! Овезно веками!» («30 дней», 1930) и «Бухара Благородная» («Женский журнал», 1930). Очерки, объединенные названием «Трудная тема» (1931), посвящены маневрам Белорусского военного округа; кроме Ильфа и Петрова в командировке участвовали прозаик Борис Левин и карикатурист Константин Ротов.

Осенью 1933 года началась поездка Ильфа и Петрова по Европе. Подробности заграничного плавания на военных кораблях Черноморского флота с посещением Турции, Греции и Италии отразились в их очерках «Начало похода», «День в Афинах», «Черноморский язык» и «Пять языков». Конечной целью путешествия был Париж.

Книга очерков «Одноэтажная Америка» (1936—1937) — результат поездки в Соединенные Штаты, куда отправились Ильф и Петров как корреспонденты газеты «Правда». Их «травелогия» относится скорее к беллетристике, нежели к документальному жанру. «Одноэтажная Америка» не путеводитель по Соединенным Штатам, а подлинно художественное произведение об этой «текучей стране», созданное тонкими, наблюдательными авторами. «Мы знали. Не надо торопиться. Еще рано делать обобщения. Надо сперва как можно больше увидеть. Мы скользили по стране, как по главам толстого увлекательного романа, подавляя в себе законное желание нетерпеливого читателя — заглянуть в последнюю страницу».

Рассказ «Тоня» примыкает к «Одноэтажной Америке» как своеобразный эпилог. Рассказ написан в новом для соавторов жанре: от сатирической гиперболизации они переходят к большой реалистической литературе.

\* \* \*

«Мы работали вместе десять лет, — писал Евгений Петров. — Это очень большой срок. В литературе это целая жизнь».

А в жизни человека десять лет — это очень малый срок. ВСЕГО десять лет.

И читателю до сих пор интересно: как же они писали вдвоем? Кто был «главнее»? Какими они были? Как жили? Какие у них были жены, какие дети? Что им нравилось? Чего они не любили? Как относились друг к другу? Можно ли назвать их сияемскими близнецами?

Что же ответить любознательному читателю?

Сначала предложим юмористические ответы Ильфа и Петрова:

«Обычно по поводу нашего обобщительного литературного хозяйства к нам обращаются с вопросами вполне законными, но весьма однообразными: «Как это вы пишете вдвоем?»

Сначала мы отвечали подробно, вдавались в детали, рассказывали даже о крупной ссоре, возникшей по следующему поводу: убить ли героя романа «12 стульев» Остапа Бендера или оставить в живых? Не забывали упомянуть о том, что участь героя решилась жребием. В сахарницу были положены две бумажки, на одной из которых дрожавшей рукой был изображен череп и две куриные косточки. Вынул череп — и через полчаса великого комбинатора не стало. Он был прирезан бритвой.

Потом мы стали отвечать менее подробно. О ссоре уже не рассказывали. Еще потом перестали вдаваться в детали. И, наконец, отвечали совсем уже без воодушевления:

— Как мы пишем вдвоем? Да так и пишем вдвоем. Как братья Гонкуры. Эдмонд бегаёт по редакциям, а Жюль стережет рукопись, чтобы не украли знакомые».

Или:

«...Авторов обычно спрашивают, как это они пишут вдвоем. Интересующимся можем указать на пример певцов, которые поют дуэты и чувствуют себя при этом отлично».

Или:

«— О, это очень просто! Значит, так: стол, ну, естественно, чернильница, бумага, и мы двое. Посмотреть со стороны — так совсем не интересно. Никаких особенных писательских странностей...»

— Как же вы все-таки пишете вдвоем?

— Так вот все-таки и пишем, препираясь друг с другом по поводу каждой мысли, слова и даже расстановки знаков препинания».

И юмористическое резюме:

«Теперь как-то не принято работать в одиночку. Многие наконец поняли, что ум — хорошо, а два все-таки лучше».

Однако в действительности писать вместе было не слишком просто:

«Очень трудно писать вдвоем. Надо думать, Гонкурам было легче. Все-таки они были братья. А мы даже не родственники. И даже не однолетки. И даже различных национальностей: в то время как один русский (загадочная славянская душа), другой еврей (загадочная еврейская душа).

Труднее всего добиться того гармонического момента, когда оба автора усаживаются наконец за письменный стол».

Перечислив несколько юмористических вариантов «препираательства», не дающих работать, соавторы заканчивают фразой:

«Совершенно непонятно, как мы пишем вдвоем».

Ильф на подобный вопрос отвечал так:

«Как мы пишем вдвоем? Вот как мы пишем вдвоем: «Был летний (зимний) день (вечер), когда молодой (уже немолодой) человек (-ая девушка) в светлой (темной) фетровой шляпе (шляпке) проходил (проезжала) по шумной (тихой) Мясницкой улице (Большой Ордынке)». Все-таки договориться можно».

А если серьезно:

«Мы начали работать вдвоем в 1927 году случайно. До этого каждый из нас писал самостоятельно. Это были маленькие рассказы, фельетоны, иногда даже весьма сомнительные стихи.

Когда мы стали писать вдвоем, выяснилось, что мы друг к другу подходим, как говорится, дополняем один другого.

Выяснилось еще одно обстоятельство. Писать вдвоем труднее, сложнее, чем одному. Но зато, как нам кажется, для нас лично это оказалось плодотворнее.

Мы не можем рекомендовать такого способа работы как обязательно дающего хорошие результаты. Но в отношении себя мы убеждены, что каждый из нас в отдельности писал бы хуже, чем мы пишем сейчас вдвоем.

Что касается метода нашей работы, то он один. Что бы мы ни писали — роман, фельетон, пьесу или деловое письмо, мы все это пишем вместе, не отходя друг от друга, за одним столом.

Вместе ищется тема, совместными усилиями облекается она в сюжетную форму, все наблюдения, мысли и литературные украшения тщательно выбираются из общего когла, и вместе пишется каждая фраза, каждое слово. Разумеется, каждый шаг работы подвергается взаимной критике, критике довольно придирчивой, но зато нелицемерной, не допускающей компромиссов и приятельских одолжений.

Вначале, когда мы стали писать вместе, мы не только сочиняли каждое слово, сидя рядом или друг против друга за столом (это было вроде двух пианистов, исполняющих пьесу на двух роялях), но писали вместе даже деловые письма и вместе ходили по редакциям и издательствам. За десять лет совместной работы выработался у нас единый литературный стиль и единый литературный вкус. Это было полное духовное слияние...

Как случилось, что мы с Ильфом стали писать вдвоем? Назвать это случайностью было бы слишком просто. Ильфа нет, и я никогда не узнаю, что думал он, когда мы начинали работать вместе. Я же испытывал по отношению к нему чувство огромного уважения, а иногда даже восхищения. Я был моложе его на пять лет, и хотя он был очень застенчив, писал мало и никогда не показывал написанного, я готов был признать его своим мэтром. Его литературный вкус казался мне в то время безукоризненным, а смелость его мнений приводила меня в восторг».

Ильф и Петров работали в «Гудке», когда Валентин Катаев, старший брат Петрова и признанный мэтр молодых литераторов, предложил им «отличную тему» для авантюрного романа — в стужах спрятаны деньги: «Один роман пусть пишет Илья, а другой Женя». Ильф подумал и сказал Петрову:

«— А может быть, будем писать вместе?»

— Как это?

— Ну, просто вместе будем писать один роман...

— Как же вместе? По главам, что ли?

— Да нет, — сказал Ильф, — попробуем писать вместе, одновременно, каждую строчку вместе. Понимаете? Один будет писать, другой в это время будет сидеть рядом. В общем, сочинять вместе...

Сколько должно быть стульев? Очевидно, полный комплект — двенадцать штук. Название нам понравилось. «Двенадцать стульев». Мы стали импровизировать. Мы быстро сошлись на том, что сюжет со стульями не должен быть основой романа, а только причиной, поводом к тому, чтобы показать жизнь...

Это было в августе или сентябре 1927 года...

Сейчас я совершенно не могу вспомнить, кто произнес какую фразу, кто и как исправил ее. Собственно, не было ни одной фразы, которая так или иначе не обсуждалась и не менялась, не было ни одной мысли или идеи, которая тотчас же не подхватывалась. Но первую фразу романа произнес Ильф. Это я помню хорошо.

После короткого спора было решено, что писать буду я. Ильф убедил меня, что мой черк лучше.

Я сел за стол. Как же мы начнем? Содержание главы было известно. Была известна фамилия героя — Воробьянинов. Ему уже было решено придать черты моего двоюродного дяди — председателя уездной земской управы. Уже была придумана фамилия для тещи — мадам Петухова и название похоронного бюро — «Милости просим». Не было только первой фразы. Прошел час. Фраза не рождалась. То есть фраз было много, но они не нравились ни Ильфу, ни мне. Затянувшаяся пауза тяготила нас. Вдруг я увидел, что лицо Ильфа сделалось еще более твердым, чем всегда, он остановился (перед этим он ходил по комнате) и сказал:

— Давайте начнем просто и старомодно: «В уездном городе N». В конце концов не важно, как начать, лишь бы начать.

Так мы и начали.

И в этот первый день мы испытали ощущение, которое не покидало нас потом никогда. Ощущение трудности. Нам было очень трудно писать. Мы работали в газете и в юмористических журналах очень добросовестно. Мы знали с детства, что такое труд. Но никогда не представляли себе, как трудно писать роман. Если бы я не боялся показаться банальным, я сказал бы, что мы писали кровью.

Остап Бендер был задуман как второстепенная фигура, почти что эпизодическое лицо. Для него у нас была приготовлена фраза, которую мы слышали от одного нашего знакомого бильярдиста: «Ключ от квартиры, где деньги лежат». Но Бендер стал постепенно выпирать из приготовленных для него рамок. Скоро мы уже не могли с ним сладить. К концу романа мы обращались с ним как с живым человеком и часто сердились на него за нахальство, с которым он пролезал почти в каждую главу. Это верно, что мы поспорили о том, убивать Остапа или нет. Действительно, были приготовлены две бумажки. На одной из них мы изобразили череп и две косточки. И судьба великого комбинатора была решена при помощи маленькой лотереи. Впоследствии мы очень досадовали на это легкомыслие, которое можно было объяснить лишь молодостью и слишком большим запасом веселья...

Я вспоминаю, что вначале, когда мы стали писать вместе, мы не только сочиняли каждое слово, сидя рядом или друг против друга за столом (это было вроде двух пианистов, исполняющих пьесу на двух роялях), но писали вместе даже деловые письма и вместе ходили по редакциям и издательствам...

Оказалось, что за десять лет работы вместе у нас выработался единый стиль. А стиль нельзя создать искусственно, потому что стиль — это литературное выражение пишущего человека со всеми его духовными и даже физическими особенностями. На мой взгляд, стиль — это то, что не поддается даже анализу (во всяком случае, уже после смерти Ильфа один чрезвычайно умный, острый и знающий критик проанализировал нашу «Одноэтажную Америку» в твердом убеждении, что он легко определит, кто какую главу написал, но не смог правильно определить ни одной главы). Очевидно, стиль, который выработался у нас с Ильфом, был выражением духовных и физических особенностей нас обоих. Очевидно, когда писал Ильф отдельно от меня или я отдельно от Ильфа, мы выражали не только каждый себя, но и обоих вместе...

Вообще говоря, мы ссорились очень редко, и то по причинам чисто литературным — из-за какого-нибудь оборота речи или эпитета. А тут ссора приключилась ужасная — с криками, ругательствами и страшными обвинениями. То ли мы слишком изнервничались и переутомились, то ли сказалась здесь смертельная болезнь Ильфа, о которой ни он, ни я в то время еще не знали, только ссорились мы долго — часа два. И вдруг, не сговариваясь, мы стали смеяться. Это было странно, дико, невероятно, но мы смеялись. И не каким-нибудь истерическим, визгливым, так называемым чуждым смехом, после которого надо принимать валерьянку, а самым обыкновенным, так называемым здоровым смехом. Потом мы признались друг другу, что одновременно подумали об одном и том же — нам нельзя ссориться, это бессмысленно. Ведь мы все равно не можем разойтись. Ведь не может же исчезнуть писатель, проживший десятилетнюю жизнь и сочинивший полдесятка книг, то-

лько потому, что его составные части поссорились, как две домашние хозяйки в коммунальной кухне из-за примуса...

Год спустя мы написали нашу последнюю большую книгу — «Одноэтажную Америку». Это было первое произведение, которое мы сочиняли порознь — двадцать глав написал Ильф, двадцать глав написал я, и семь глав мы написали вместе, по старому способу...

Мы работали вместе десять лет. Это очень большой срок. В литературе это целая жизнь. Мне хочется написать роман об этих десяти годах, об Ильфе, о его жизни и смерти, о том, как мы сочиняли вместе, путешествовали, встречались с людьми, о том, как за эти десять лет изменялась наша страна и как мы изменялись вместе с ней. Может быть, со временем такую книгу удастся сочинить».

\* \* \*

«— Хорошо, если бы мы когда-нибудь погибли вместе, во время какой-нибудь авиационной или автомобильной катастрофы. Тогда ни одному из нас не пришлось бы присутствовать на собственных похоронах.

Кажется, это сказал Ильф. Я уверен, что в эту минуту мы подумали об одном и том же. Неужели наступит такой момент, когда один из нас останется с глазу на глаз с пишущей машинкой? В комнате будет тихо и пусто, и надо будет писать».

Когда некролог Ильфа зачитывали на заседании комиссии по похоронам в стенах Союза писателей, кто-то сказал с невеселой улыбкой, обращаясь к Петрову:

— Впечатление такое, Евгений Петрович, будто и вас хоронят...

Петров ответил спокойно и тихо:

— И хороните. Это — и мои похороны...

*Александра Ильф*



## СОДЕРЖАНИЕ

Двойная автобиография . . . . .	5
Как мы работаем . . . . .	6
<b>ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ. Роман . . . . .</b>	<b>9</b>
Приложение	
Прошлое регистратора загса . . . . .	197
Летучий голландец ( <i>План повести</i> ) . . . . .	207
<b>ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК. Роман . . . . .</b>	<b>215</b>
Приложение	
<i>Глава тридцать пятая.</i> Адам сказал, что так нужно . . . . .	409
Великий комбинатор. <i>Роман.</i> Часть первая . . . . .	411
Письмо И. Ильфа и Е. Петрова в «Литературную газету» . . . . .	460
<b>СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ. Сатирическая повесть. . . . .</b>	<b>463</b>
<b>НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ</b>	
<b>ГОРОДА КОЛОКОЛАМСКА. Гротескные новеллы</b>	
Синий дьявол . . . . .	511
Гость из Южной Америки . . . . .	513
Васисуалий Лоханкин . . . . .	515
Город и его окрестности . . . . .	517
Страшный сон . . . . .	519
Пролетарий чистых кровей . . . . .	521
Золотой фарш . . . . .	523
Красный Калошник-Галошник . . . . .	526
Собачий поезд . . . . .	528
Вторая молодость . . . . .	530
Мореплаватель и плотник . . . . .	532
<b>1001 ДЕНЬ, ИЛИ НОВАЯ ШАХЕРЕЗАДА. Гротескные новеллы</b>	
Товарищ Шайтанова . . . . .	537
Выдвиженец на час . . . . .	539
Двойная жизнь Портищева . . . . .	541
Рассказ о товарище Алладинове и его волшебном билете . . . . .	543
Рассказ о «Гелиотропе» . . . . .	545
Человек с бараными глазами . . . . .	548
Рассказ о «Золотом лете» . . . . .	550
Преступление Якова . . . . .	552
Хранитель традиций . . . . .	554
Процедуры Трикартова . . . . .	556
Борьба гигантов . . . . .	558
<b>РАССКАЗЫ И ФЕЛЬЕТОНЫ 1929—1937</b>	
К барьеру! . . . . .	563
Побежденный Оскар ( <i>«Негр» в Камерном театре</i> ). . . . .	564
Пташечка из Межрабпомфильма . . . . .	566
Ваша фамилия? . . . . .	567
Соревнование одиночек . . . . .	569
Два агитпропа . . . . .	570
Кабинет восковых фигур . . . . .	572
Кооп-генералы . . . . .	573
Три с минусом . . . . .	574
1001-я деревня . . . . .	576
Алмазная дочка, или Приключение одной газеты . . . . .	577
Призрак-любитель . . . . .	578
Бледное дитя века . . . . .	580
Душа вон . . . . .	581
Под знаком Рыб и Меркурия . . . . .	582
Великий лагерь драматургов . . . . .	584
Авксентий Филосопуло . . . . .	586
Праведники и мученики . . . . .	587
Московские ассамблеи . . . . .	589

Театр на улице . . . . .	590
Гибельное опровержение . . . . .	592
Чарльз-Анна-Хирам . . . . .	593
Шалуны и шалуньи . . . . .	595
Когда улетают птицы . . . . .	596
Полупетуховщина . . . . .	598
Шкуры барабанные . . . . .	600
Волшебная палка . . . . .	601
Высокое чувство . . . . .	603
Мала куча — крыши нет . . . . .	605
Пьеса в пять минут . . . . .	606
Пошлый объектив . . . . .	608
Разгул техники . . . . .	609
Каприз артиста . . . . .	611
Довесок к букве «Ш» . . . . .	612
Турист-единоличник . . . . .	613
Честность . . . . .	615
На волосок от смерти . . . . .	616
Титаническая работа . . . . .	618
Меблировка города . . . . .	620
Я себя не пощажу . . . . .	621
Обыкновенный икс . . . . .	623
Граф Средиземский . . . . .	624
Халатное отношение к желудку . . . . .	630
Секрет производства . . . . .	632
Любители футбола . . . . .	635
И снова ахнула общественность . . . . .	637
Король-солнце . . . . .	639
Так принято . . . . .	640
«Несчастьялмазовкаменных» . . . . .	643
В золотом переплете . . . . .	645
Мне хочется ехать . . . . .	646
Сделал свое дело и уходит . . . . .	648
Человек в бусах . . . . .	650
Пятая проблема . . . . .	652
Горю — и не сгораю . . . . .	653
Здесь нагружают корабль . . . . .	656
Когда уходят капитаны . . . . .	659
Сквозь коридорный бред . . . . .	662
Детей надо любить . . . . .	664
Четыре свиданья . . . . .	666
Великий канцелярский шлях . . . . .	668
Идеологическая пеня . . . . .	672
Рождение ангела . . . . .	674
Пытка роскошью . . . . .	676
Отдайте ему курсив . . . . .	678
Маленькая Ху-Ху . . . . .	680
Я, в общем, не писатель . . . . .	683
Хотелось болтать . . . . .	685
Литературный трамвай . . . . .	686
Победитель . . . . .	689
Бронированное место . . . . .	690
Под сенью изящной словесности . . . . .	692
Королевская лилия . . . . .	693
Мы уже не дети . . . . .	695
Саванарыло . . . . .	697
Как создавался Робинзон . . . . .	699
На зеленой садовой скамейке . . . . .	701
«Зауряд-известность» . . . . .	703
Их бин с головы до ног . . . . .	705
Веселящаяся единица . . . . .	708
Равнодушие . . . . .	711
КЛООН . . . . .	716
Урок словесности . . . . .	720
Отрицательный тип . . . . .	722

Головой упираюсь в солнце . . . . .	725
Человек с гусем . . . . .	727
Кандидаты . . . . .	730
Листок из альбома . . . . .	735
Необыкновенные страдания директора завода . . . . .	738
Муравей . . . . .	741
Чаша веселья . . . . .	743
Честное сердце болейщика . . . . .	745
Техника на грани фантастики . . . . .	748
Журналист Ошейников . . . . .	750
Бродят по городу старухи . . . . .	752
Для полноты счастья . . . . .	755
Заметки болейщика . . . . .	758
Счастливый отец . . . . .	759
Метрополитеновы предки . . . . .	761
Германские Пуришкевичи . . . . .	768
Директивный бантик . . . . .	768
Уберите ваши котлеты . . . . .	772
Любимый трамвай . . . . .	773
Любовь должна быть обоюдной . . . . .	777
Осатаневший драмкружок . . . . .	781
Странности великих людей . . . . .	783
Рецепт спокойной жизни . . . . .	785
Костяная нога . . . . .	787
Разговоры за чайным столом . . . . .	790
Человек умер . . . . .	792
Чудесные гости . . . . .	793
Любители просят слова . . . . .	796
Дух наживы . . . . .	798
У самовара . . . . .	800
Черное море волнуется . . . . .	803
Дневная гостиница . . . . .	805
Разносторонний человек . . . . .	808
Безмятежная тумба . . . . .	811
Кипучая жизнь . . . . .	814
Россия-Го . . . . .	816
Собачий холод . . . . .	819
На купоросном фронте . . . . .	822
Последняя встреча . . . . .	825
«М» . . . . .	828
Кинофестиваль окончился... . . . .	829
Широкий размах . . . . .	831
Лентяй . . . . .	833
Театральная история . . . . .	836
Интриги . . . . .	838
На трибуне среди гостей . . . . .	840
Дело студента Сверановского . . . . .	842
Старики . . . . .	844
Чувство меры . . . . .	847
Мать . . . . .	850
В защиту прокурора . . . . .	853
Регулирование уличного веселья . . . . .	858
Отец и сын . . . . .	859
Аллея побед . . . . .	860
Финансовая неразбериха . . . . .	865
Путь к мировому футбольному первенству . . . . .	866
Колумб причаливает к берегу . . . . .	867
Добродушный Курятников . . . . .	871
Соавторы . . . . .	874
Часы и люди . . . . .	874
Писатель должен писать . . . . .	878
Тоня . . . . .	881

## ПУТЕВЫЕ ОЧЕРКИ

Ярославль перед штурмом . . . . .	905
-----------------------------------	-----

Турксиб: апрель—май 1930 г.	
Мы Робинзоны . . . . .	906
Осторожно! Овёяно веками! . . . . .	909
Бухара Благодарная . . . . .	920
Трудная тема ( <i>В порядке обмена мнений</i> ) . . . . .	925
Неоконченный военный рассказ . . . . .	927
Различное отношение к пейзажу . . . . .	929
Волевой кинооператор . . . . .	931
Покаяние . . . . .	934
Боевой вид . . . . .	935
Путешествие по Европе: октябрь 1933 — январь 1934 г.	
Пять языков . . . . .	936
Начало похода . . . . .	937
Черноморский язык . . . . .	945
День в Афинах . . . . .	949
Штрихи современной Европы . . . . .	953
Приложение	
Письмо И. Ильфа и Е. Петрова И. В. Сталину . . . . .	956
ОДНОЭТАЖНАЯ АМЕРИКА . . . . .	963
КИНОСЦЕНАРИИ, ДРАМАТУРГИЯ	
Праздник святого Йоргена. <i>Титры к фильму</i> . . . . .	1185
Вице-король. <i>Водевиль в 2-х действиях</i> . . . . .	1188
Барак. <i>Кинокомедия</i> . . . . .	1195
Однажды летом. <i>Сценарий звуковой комедии</i> . . . . .	1214
Сильное чувство. <i>Водевиль в одном действии</i> . . . . .	1241
Парижский сценарий (Сценарий звукового фильма) . . . . .	1250
Нервные люди. <i>Скетч</i> . . . . .	1268
<i>Биографическая справка</i> . . . . .	1270
<i>А. Ильф. «Как мы пишем вдвоем? Вот как мы пишем вдвоем...»</i> . . . . .	1271

**ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!**

*Издательство просит отзывы об этой книге и Ваши предложения по серии*

*«Полное собрание в одном томе» присылать по адресу:*

*125565, Москва, а/я 4,*

*«Издательство АЛЬФА-КНИГА» или по e-mail: [mvn@armada.ru](mailto:mvn@armada.ru)*

*Информацию об издательстве и книгах*

*можно получить на нашем сайте в Интернете: <http://www.armada.ru>*

*Литературно-художественное издание*

**Полное собрание в одном томе**

**Ильф Илья Арнольдович, Петров Евгений Петрович  
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ОДНОМ ТОМЕ**

Заведующий редакцией *В. Н. Маршавин*  
 Ответственный редактор *Е. Г. Басова*  
 Художественный редактор *Л. В. Меркулова*  
 Технический редактор *А. А. Еришова*  
 Корректор *Н. А. Карелина*  
 Компьютерная верстка *Л. С. Федерякиной*

Подписано в печать 05.04.17. Формат 60х90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Гарнитура «Ньютон». Печать офсетная.  
 Бумага офсетная. Усл. печ. л. 80,00. Доп. тираж 3000 экз. Изд. № 7899. Заказ №

ООО «Издательство АЛЬФА-КНИГА». 125565, Москва, а/я 4; ул. Расковой, д. 20

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»  
 143200, Московская область, г. Можайск, ул. Мира, д. 93